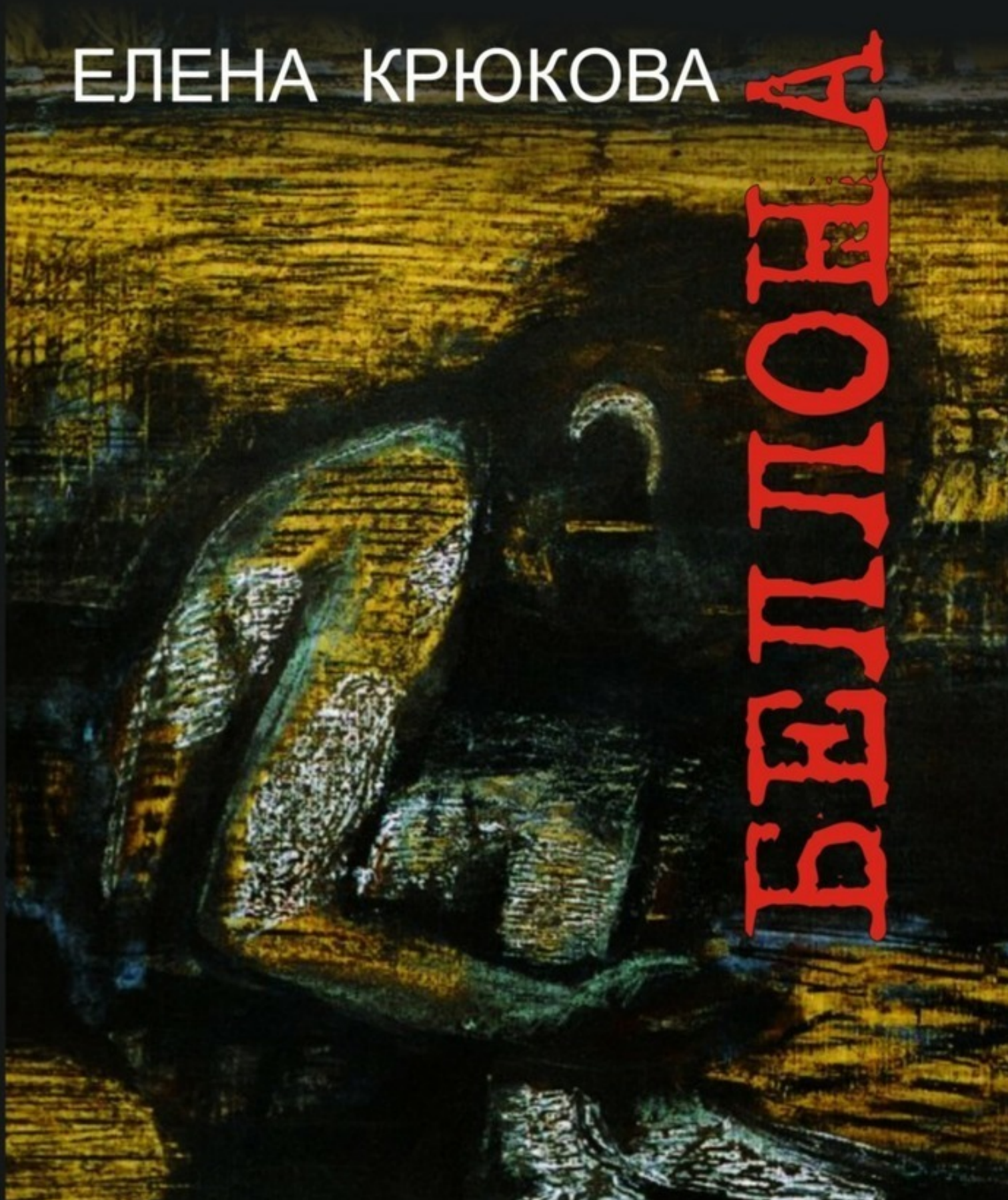


ЕЛЕНА КРЮКОВА

ВЕЩНОСТЬ



Елена Крюкова

**Беллона**

«Издательские решения»

**Крюкова Е. Н.**

Беллона / Е. Н. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837341-1

Война и дети — несовместимы. Дети войны — ангелы, что незримо реют над нами. Мир и война всегда в трагическом объятии. Глаза детей войны глядят на нас. Они говорят нам без слов: ДОРОЖЕ МИРА НЕТ НИЧЕГО.

ISBN 978-5-44-837341-1

© Крюкова Е. Н.  
© Издательские решения

## Содержание

Правда прощения	6
Глава первая. Бумажные крылья	8
Глава вторая. Золото и медь	27
Интермедия	42
Глава третья. Живот нежнее ночи	49
Конец ознакомительного фрагмента.	70

# **Беллона**

## **Елена Крюкова**

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

© Олег Максимов, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4483-7341-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Правда прощения



Некоторые темы только кажутся исчерпанными, даже дежурными. До того момента, когда является тот, кто докажет их неисчерпаемость, взглянув на них под новым углом, с нового ракурса, новыми глазами.

Что можно сказать спустя семь десятилетий о Великой Отечественной, о фашизме, о концлагерях? Спустя семь десятилетий, в течение которых были написаны горы документалистики, стихов, романов, научных работ и аналитических статей – что принципиально нового может быть сказано?

Новое – есть. Чтобы сказать его, был нужен голос достаточно смелый – озвучить истину, которая нужна нашему времени. Живую – пусть и художественную – правду, с которой нам всем жить дальше. Правду прощения. Правду того, что детство должно быть детством, а не нескончаемым ужасом и не постоянной тревогой.

Роман Елены Крюковой «Беллона» – о великом прощении за то, чего нельзя забыть, но простить необходимо. Простить расстрелы, пытки, газовые камеры – все, что придумал человек-фашист для человека с иными убеждениями, иным цветом кожи, иной метрикой...

Фашист – и вдруг человек? Да – человек. Может быть, уже бывший, может быть, гнилой, слабый, ужасный, жестокий. Но – человек. Крюкова не вешает ярлыков, не выбирает монохромных решений. Она пытается разобраться в том, что должно сломаться в человеке, чтобы он стал убежденным фашистом, делящим людей на сорта. И пытается найти, чем можно (если можно!) излечить эту пагубу души человеческой.

Грандиозная задача, и решение ее требует вовлечения многих персонажей. Пёстрая, многонациональная толпа помогает понять, что военное время не было каким-то особым, эпическим и далёким.

Люди, на чью долю выпали сороковые, становятся не фигурами памятников, а теми, кого можно взять за руку – читатель видит, как отчаянно пытается спасти свое дитя узница концлагеря киевлянка Двойра, как не может расстрелять фашиста Гюнтера Вегелера Иван Макаров... Это цветной мир без четко очерченных границ «черного» и «белого», в этом мире есть одна правда – созидательная правда человечности, носителями которой являются все герои.

Читатель становится свидетелем знакового момента, когда ослабевший и обезумевший Гитлер перед своим смертным часом видит собственных нерожденных детей, поющих на его свадебном обеде в почти павшем фашистском Берлине. Это и есть та награда грешнику, о которой некогда говорил Христос – быть приговоренным к себе, вечно бежать от собственных кошмаров, зная, что от них нет спасения. Человек ли Гитлер Крюковой? Все-таки – человек, пусть и страшный. Но и в нем есть полустертая, полузабытая искра *неразрушения*...

Странный это коллаж – читатель романа побывает и в тылу русских в Горьком, и у газовых камер Освенцима, увидит руины Сталинграда и обеда Гитлера. Но, наверное, только так и можно понять, сколько судеб перепутала безумная война.

Автор не приукрашивает и не отменяет ужасов «коричневой чумы» – в книге есть и ямы с горами расстрелянных людей, и страшные утренние переключки, которые становятся последними для многих узников – часто лишь по прихоти надзирателей. Но даже в надзирательнице Освенцима Гадюке, убившей множество людей, остаются крохи человеколюбия – она спасает и выхаживает Лео, ребенка погибшей Двойры.

Грязь остается грязью, кровь – кровью, смерть – смертью. Магда Геббельс убивает своих детей: им не место в мире, которым правят «красные». Кинорежиссер Лени Рифеншталь приезжает в Освенцим и понимает, чем на самом деле обернулась для военнопленных нацистская идея, и решает снять кадры жуткой правды, помимо предложенных постановочных съемок.

Но все-таки главным фиксатором происходящего в этом мире, перевернутом и искалеченном войной, остаются детские глаза, жадно впитывающие все детали происходящего. Глаза, от которых в мирное время скрывают и меньшее зло, видят всю войну как она есть – с голодом, вшами, расстрелами. Дневники этого детства предпосланы каждой главе, и, читая их, сознаешь: прощая, нельзя забывать этого не наевшегося, не наигравшегося детства, главной радостью которого было – уснуть в тишине, не под свист орудий.

Этим детям суждено пройти разными тропами, выжить чудом и быть воспитанными в чужих семьях. Но это – трудная победа самой жизни над смертью.

Автор считает свою книгу данью детям войны – уже уходящему от нас поколению...

В финале Крюкова дает монументальное полотно, настоящее послание тонкого мира: Великая Мать кладет руки свои на головы своим сыновьям, белокурому немцу и белокурому русскому, братьям-близнецам, а вокруг водят хороводы небесные дети. Эта правда прощения больше многих ныне известных нам правд. Но со временем мы ее примем, это – правда будущего. Правда прощения, которое не равно забвению.

*Анастасия Ростова*

*Всем детям, пережившим войну.  
Их глаза глядят на меня.*

## Глава первая. Бумажные крылья

*[нью-йорк февраль вдова]*

Там и сям каменные дома, домищи, домишки. То железом крытые, то черепицей, то залитые серой мглой бетона, и птицы, мимо летящие, свободно и весело испражняются на крыши покатые и островерхие, плоские и бугристые. Птичий помет засыхает и становится цвета неба, невидимый глазу.

В ранний час эти худые, обтянутые черными чулками ноги в высоких шнурованных ботинках выходят на крыльцо большого серого каменного мешка; мелко, скромно и опасливо перебирая, спускаются по ступеням. Эти руки, облепленные черными ажурными перчатками, – в ажурные дыры видна кожа мертвенного цвета белых бабочек или их личинок, – хватаются сначала за дверную медную ручку, потом за перила, потом за воздух; руки слепые, а ноги зрячие, пусть лучше ноги видят и идут.

Ноги идут. Ноги идут. Ступни поют – они хорошо отдохнули за ночь. Туловищу кажется, что ноги идут бодро и быстро; это ошибка. Ноги дрожат и чуть подламываются на несоразмерно высоких каблуках. Каблуки непрочны держатся, гвозди расшатались, клей рассохся, вот-вот отлетят, и тогда ноги захромают и испуганно остановятся. Но пока идут, идут.

Пальцы ощупывают острые локти. Теплое старомодное пальто защищает локти, запястья, плечи от пронизывающего океанского ветра. Запах сырой пустоты. Он обнимает ноздри и вползает в них, и забивает их, и вливается в легкие, и нельзя дышать, а можно только растащить глаза и раздвинуть губы в жалкой улыбке.

Улыбка не жалкая, нет: торжествующая. Та, кому она принадлежит, жива. Еще жива. Жизнь, разве это не торжество? Жизнь сложена в старую картонную коробку с размахренными, обгрызенными мышами, ветхими краями: тут все самое дорогое, милое и любимое – карандаши красные и синие, желтые и зеленые, розовые промокашки из школьных тетрадей в клеточку, вырезанная из киножурнала чудненькая кудрявая головка популярной актрисы с улыбкой, где лишь яркий вишневый жир помады, слоновый лак ровных, как на подбор, зубов, и крохотная родинка, почти черненькая мушка, над чуть вздернутой верхней губой; высохшие жуки-навозники с жестоко воткнутыми в спинку иглами – чтобы умерли скорей и засохли быстрее и стали красивой ребячьей, для хвастовства перед подругами, летней коллекцией; ломкие стрекозы, призрачные бабочки – крылья прозрачны, вся пыльца осыпалась давно, и лишь слюда несбыточного сна посверкивает между золотистых, еще не истлевших узорчатых нитей; а вот перламутровые пуговицы в виде цветков ромашки, вот старинная сломанная брошь в виде лягушки, вот японский веер – развернешь, а он порван, а им обмахивались в театре, в темной ложе, и алебастровая рука – на красном бархате, и маленький бинокль обтянут черной свиной кожей; а тут аккуратно сложенные в стопочку билеты – на новый фильм и на новый спектакль, а тут программки концерта заезжего знаменитого музыканта и буклет вернисажа знаменитого художника; а на самом дне коробки – вязальные спицы, костяные крючки, разбитое зеркальце офтальмоскопа, разбросанные линзы, две толстых лупы без оправы, рассыпанные таблетки – кто пил лекарство, когда, какую боль утишал? – и, Боже, почему здесь ее рисунок лежит. На самом дне. Почему здесь. Для ее рисунков существует отдельная папка. Почему здесь?!

Легкий, еле намеченный мягким грифелем профиль. Чуть вздернутый нос. Чуть раскосые глаза. Сетка морщин. Морщинистая вуаль ниспадает на лоб, закрывает брови и веки, сползает на щеки; за серой прозрачной сеткой не видно былой красоты восточного дерзкого лица. Ноги идут, а лицо летит. Оно летит отдельно от торса, от груди, от тщательно, на людях, на вечной публике, подобранного, поджатого живота, от сутулой спины, от кочергами торчащих коленей – при ходьбе колени болят, а когда ноги поднимаются по эскалатору или влезает

по ступенькам автобуса, рот не сдерживает стон. Подбородок дрожит. Углы губ поднимаются вверх совсем чуть-чуть. Рисуи меня. Рисуи с меня Мону Лизу Джоконду, доченька. Я буду сидеть тихо, не шевельнусь.

Глаза лениво, скорбно скользят по стеклам, по витринам. Уши ловят чужую речь. Уши слышат этот язык уже много лет; дома, в пустых одиноких стенах, рот может все снова бормотать по-русски – но улица говорит по-своему, и с этим надо мириться. Ноги идут мимо роскошных витрин, и голова оборачивается. Под обтянутой белой неживой кожей картонной коробкой черепа – холодный мозг; он еще помнит, он еще мыслит. Под стальными ребрами – комок сердца; а может, это та выброшенная давно, кухонная влажная старая тряпка, и она снова и снова, после похорон Ники, вытирает столы – доски и клеенки, стряхивает крошки с бумажной скатерти: здесь стояли щи и кутья, здесь – мясо с гречневой кашей, а здесь бутылки ледяной ртутной водки, а вот здесь, да, здесь, – салат оливье в огромной деревенской, коровьей, поросычьей миске. Рука протирала грязные столы, глаза струили теплые отчаянные слезы, а глотке хотелось завизжать, как визжит под ножом поросенок. Но смолчала глотка, вобрала душный, пропитанный свечным нагаром воздух.

Глаза оценивающе глядели на отражение в витрине. Еще длинная; еще стройная. Не длинная, а оглобля. Не стройная, а тощая. Тощая старая оглобля, давай двигай дальше. Хватит на себя пялиться в чужую богатую витрину.

Нос вобрал, жадно всосал сладкий, зефирный и вареньин дух ближней кондитерской. Глаза бесстрастно наблюдали: из кафе выносят стулья и столы на улицу, аккуратно расставляют под пестрыми зонтами, зима не зима, а работать надо. Океанский ветер – что за экзотика! Серые дома жмут душу клещами. Белочки в Сентрал-парке щекочут тебе губами и коготочками ладонь, крошки собирая. Звон чашек, звон рюмок. В столь ранний час, когда все спешат на работу, все же найдутся среди угрюмой деловой толпы двое-трое бездельников, что не прочь пропустить по чашечке эспрессо, а то и по рюмочке виски.

Сердце, старая грязная тряпка, когда-то любило это кафе.

Когда еще живо было и билось рядом другое сердце.

Одна рука чуть приспустила на ладонь перчатку на другой. Старинные наручные часы, о, какая прелесть. Золотые. Или золоченые? Какая разница. Семь часов пятнадцать минут. Какая рань! На зарядку, на зарядку, на-зарядку-на-зарядку-становись! Бред какой. Радиопередача из другой жизни. Из другого полушария. Из правого или из левого? А пес его знает.

На балконе взлаяла собака. У них тоже когда-то был пес. В святой картонной коробке лежит его мощный кожаный ошейник с медной бляхой, на ней гравировка: «LEO». Пса называли Лео, это значит Лев. Сильный как лев; добрый как лев. Погиб глупо и страшно – мальчишки дрались в подъезде, за кулаками пошла поножовщина, пес выскочил в открытую дверь, зарычал, ринулся, напоролся на нож – ощерившийся вервольф всадил ему стальной клык в живот, под ребра, и сразу проткнул сердце.

Алая лужа на лестничной площадке, и высыпали соседи, и ахают, и сочувствуют; а кто-то уже вызвал полицию, а мальчишек и след простыл, и ножа нет. Утащили. И потом выбросили в Гудзон.

Еще одно сердце перестало биться.

Сердце, маленький, теплый, горячий, красный, соленый комок. Сжимается-разжимается. А у разных народов сердца разные; у эскимосов – остроугольные ледяные; у индусов – широкие, как серебряный поднос, и сладкие яства на нем, ешь не хочу; у негров – черные, и клюют собственную кровь черными вороньими клювами; у бразильянцев – часто-часто стучат, четко-четко, так громко, что из грудной клетки за версту слышно; у норвежцев гладкие и золотые, у французов невесомые, с крылышками махаоньими; у китайцев – узкие как селедки, хитро проскочат через пороги в горном ручье, храбро поднимутся на гору, где дышать нельзя кры-

латым слабым легким, и лишь сердце одно будет дышать; у русских – а правда, какие сердца у русских?

А у тувинцев? А у монголов?

Лицо отвернулось от прозрачной бездонной витрины, полной глиняных посеребренных безголовых фигур и блестящей мишуры. Лицо повернулось. Лицо медленно, медленно, медленней далекого самолета в чистом небе, поднялось. Лицо гляделось в небо, а небо гляделось в лицо. Когда смотришь вверх, исчезают морщины. Исчезает старость.

Лицо имеет форму сердца.

Что ты врешь сама себе. Что ты врешь. Ты вышла за хлебом? Так вот и иди. Булочная уже рядом. Близо.

Ноги в черных чулках и в черных, туго зашнурованных ботинках медленно подошли к открытой стеклянной двери булочной. Из двери терпко, перечно и чесночно пахло горячей пищей. Рот наполнился слюной, горло сглотнуло. Глаза, любопытствуя, скосились: под прозрачными, как гренландский синий лед, стеклами прилавков лежали красавицы из сдобного теста, красавцы из яблочного мусса, меда и орехов. Они когда-то тоже были живыми. Были. А потом люди их убили, испекли в печке и теперь съедят. Теперь. Сейчас.

Руки взметнулись, пальцы растопырились, указательный ткнул в особенно красивую пышнотелую даму из посыпанного сахарной пудрой теста. У дамы темно мерцали глаза-изюмины, а щеки были густо политы клубничным сиропом.

Потом палец указал на пухлый живой батон. Батон валялся на спине, показывая беззащитный живот. Его могли расстрелять. Зарезать. Расчленить на куски.

– Please, – нежно, просяще сказал рот.

Кондитер засунул кредитную карту в кассовый аппарат. Внутри машины четко и сухо шелкнуло и прогудело.

– Thank you very much, – выдохнула грудь теплый благодарственный воздух, подбородок вздернулся, а губы медленно улыбнулись. Раскосые глаза двумя веселыми мальками плыли в насквозь просвеченном утренним солнцем стеклянном аквариуме булочной. Продавец смотрел в таинственные косые глаза на желтом, плоском и неподвижном лице и думал: «Понаехали тут, и так в Нью-Йорке воздуха не хватает, а тут еще эти азиаты. И ведь в хорошем районе пристроилась. Жила бы себе в своем Чайна-тауне, никто слова бы не сказал».

Руки положили батон и торт в старую черную русскую сумку. Худые ноги пошагали прочь, носок ботинка зацепился за мраморный порожек.

– Эй! Осторожней! У нас тут ступенька! – крикнули ей на чужом языке.

Плоское лицо обернулось. Морщинистая вуаль чуть дрогнула, брезгливо и опасливо. И худые пальцы, живые богомолы в черных сетках, не приподняли ее бережно, кокетливо и осторожно с желтых старых скуластых щек.

– Excuse me... thanks...

Ноги вынесли угластое долгое тело на улицу. Ветер с океана крепчал. Он крепко ударил ее в грудь двумя сырыми кулаками. Руки прижали к животу сумку с хлебом. Нос чувал доносящийся из сумки сладкий, ванильный, медовый запах. Мед, зерно, мука, семена, ягоды, сахар, соль. Корица, кориандр, гвоздичный корень, цедра. Февраль, и ветер страшный и сырой, и надо бы сварить глинтвейн, и глотка согреется, и сердце успокоится.

И разложить пасьянс. Да. Из старых рисунков.

Из всех дочкиных бедных, голых, еще неубитых, еще живых, еще не сожженных и не расстрелянных рисунков.

Пальцы в черной ажурной перчатке прижались ко рту. Только не плакать, ведь слезы вытекут и умрут, и ты сама забудешь их; зачем же их длить, лелеять? Твои кочевые предки умели не только останавливать слезы, но и останавливать сердце. Они умели умирать. Приказывали себе: уйди! – и уходили. В тот мир, где, как они верили, перерождается все, где на плос-

кой доске занебесных степей великий Тенгри месит новое сладкое тесто – для пожарищ и бурь, для смертей и сражений.

Ноги снова шли по улице, но не обратно – почему-то ноги тащили старое, уже с утра мгновенно уставшее тело дальше, все дальше, мимо каменных белемнитов, в город, в его холодное, медленно разогревающееся, распляющееся скорым дневным безумием нутро. Грохот поднимался из глубины, вливался в уши, и уши наострялись, настораживались по-волчьи; если правду говорили ее предки о перерождении, после смерти ее сердце хотело бы стать сердцем матери-волчицы. И чтобы у нее было много, много, много щенков – целый звездный небосвод; а не одна черная жалкая сучечка, доченька, вон улыбается, язык высунула, мордочку высовывает из закута, из логова, из коляски, из обитой розовым атласом лодки гроба.

Ноги несли ее мимо фешенебельных отелей; мимо шикарных магазинов и играющих хрустальными гранями небоскребов; мимо голых деревьев в парках – а вон и старинная повозка, и кучер на козлах, среди гладких стальных дельфинов и металлических крокодилов; мимо престижных офисов и роскошных галерей, мимо строгих памятников и почтовых агентств, и подолгу ноги, остановившись, застывали, стыли на соленом ветру около переходов – мигали цветные лампы, рвались вперед люди, и ноги бежали вслед за людьми, бежали, бежали, пытались успеть, хотя мозг под вытертой картонкой черепа знал: уже не догнать.

И все-таки, задыхаясь, рот ловил воздух другого каменного берега: я здесь! – и мысль опухивала лицо старомодным веером: доченька, что тебе сегодня сделать на обед, давай на выбор, что ты любишь больше, скажи, признайся, ты ведь так любишь тувинскую лапшу, тырткан и хуужур? Что тебе сострять, родная моя, солнышко мое, золотая птичка моя? Может быть, я сегодня сделаю тебе чореме? Или вкусный, ум отъешь, боорзак? Он будет таять у тебя во рту. И глазки твои заблестят. Как тогда, когда мы ездили на море, в Алушту, и там жили в палатке. А потом отец добыл тебе путевку в Артек. Девочка моя, ты видишь, какая я стала старая? Глаза мои стали плохо видеть, и складка эпикантуса нависает над роговицей тяжело, неподъемно. Чем тебя угощают там, в небесах, в застолье у великого хана Тенгри? Чем потчуют тебя, худенькая моя, мышка моя, любовь моя?

Ноги в туго зашнурованных ботинках сами себя ставили, сами себя выворачивали наружу, кичились собой: глядите, прохожие, какая у меня походка, какая стать; хоть сейчас на сцену, да ведь это ноги балерины, да и фигура балерины, да и улыбка балерины – загадочная и легкая, прозрачней крыльев стрекозы, не потускневшая с годами; я иду, я бывшая балерина, в балете рано, слишком рано уходят на пенсию, я вышла на мою пенсию в тридцать шесть, и ты, доченька, малютка моя, еще успела весело хлопнуть мне в ладоши на моих спектаклях, а отец твой, прошедший войну из конца в конец, был старше меня на двадцать лет, а будто бы на два дня, так я считала. Так считало сердце мое.

Ты сидела и ворочалась у меня под сердцем, и я несла, я носила тебя, едва дыша, боялась грубо потревожить тебя, разбудить; ты спала, обмотанная до горла красными травками, мохнатым алым мхом, райскими розовыми водорослями, и тебе тепло было, и я мечтала: лучше бы ты никогда не рождалась, а так и жила в утробе моей, ведь как тебе было там славно, – но отец твой, грубиян и танкист, крутил пальцем у виска: «Полоумная! Что брешешь! Парень, давай вылезай!» – это он, значит, думал, что мальчик родится, мальчика желал. А я вот сплеховала, не то тесто замесила. Девочка, страдалица! Мальчикам легче.

Я держала тебя на руках, красный орущий комок, покрывала поцелуями, и слезы мои вместо молока вливались тебе в рот.

Кызылский оперный театр, и она – первая, она – прима, Ажыкмаа Хертек. Ей завидуют, подкладывают в букеты, что поклонники важно несут в артистическую, нюхательный табак, живых жаб и ужей. Жаб она бесстрашно брала в руки, разглядывала их пятнистые узорчатые спинки, наглые губастые морды, потом швыряла в корзину для бумаг, и дирижер, покури-

вая, держа охристо-желтую, прокуренную руку с окурком на отлете, восклицал восторженно: «Наша храбрая Ажыкмаа!»

Танкист недолго думал. Схватил ее в охапку после спектакля. Кого она там танцевала – простодушную ли Золушку, лунную ли Сильфиду, умопомраченную ли Жизель – ему неважно было, он глядел не спектакль, он жадно и жарко тарасился на голые ноги и цветочные шеи. За кулисами он отодвинул могучими, пахнущими черемшой и соляжкой лапищами всю надоедливую зрительскую мошкарку, таежную мошку, и взял Ажыкмаа огненными пальцами за нагие плечи.

Два взгляда удивились. Два взгляда поплыли мимо друг друга, две черные смоленые лодки. Брови обрадовались и полетели. Ажыкмаа, смеясь, отодрала липкие пальцы рослого человека в гимнастерке от потной скользкой кожи, вытерла ладонью мокрый лоб. Голос веселый, смех чистый. Вы военный? Нет, ушел в запас. А что делаете? Да всего понемногу. А точнее? По горам лазаю. Драгоценности ищу. Не рассказывайте сказки! Это не сказки, уважаемая, это был. Алмазы, лазуриты, уголь, вольфрам, нефть иногда, бывает, находим, сами того не желая. И снова зычный, все сотрясающий, как у древнего индрик-зверя, басовитый хохот-камнепад.

Женитьба. Свадьба. Пирог, пуца, вечный любимый далган. Мать лила слезы ручьями, заплетая ее смоляные косы. Подруги садились к ее ногам и шептали, пальцами тыкали ее в плотные железные балетные икры: эй, расскажешь потом, как это, ну, ночью? Муж русский, жена тувинка, все честь по чести, дружба народов. А у них правда есть роспись в паспорте? А кто видал? Вам еще положить вкусные манчи на тарелочку, милый гость?

Ребенка они зачали в первую же ночь. Ажыкмаа билась и плакала под тяжелым, раздавливающим все ее полые, легкие, как степные дудочки, танцевальные кости телом мужа. Никодим работал неумоимо на пахоте любви. Тебе нравятся такие вот тошенькие, невесомые? Ты такой мощный, тебе надо не меня, а корову! Не плачь, дурочка, спасибо тебе, что меня дождалась. Я любился с толпой баб, и все они были – бабы, ты одна у меня – девочка. Ажыкмаа моя. Лучик солнечный.

А ты правда был на войне?

Он лег на спину. В окно светила широколицая синяя Луна. За стеклами трещал мороз, по карнизу расхаживал голубь, стуча ксилофонными лапками по звонкой жести. Скомканная в кулаке простыня полетела на пол. Никодим взял ее руку и повел по груди, по ребрам, по животу. Ажыкмаа вздрагивала, натываясь зрячими пальцами на ужас распоротой и зашитой плоти – вспухлости, рваные рубцы, заросшие грубым вторичным натяжением острова дальней лютой боли.

Пока ладонью по его телу водила – многое увидела внутри себя.

Но мужу не сказала: а вдруг посмеется?

Увидела девочку, и она сидела в коляске и тянула к ней ручки, и, чтобы отвязаться от младенчика и чуть, немного, поболтать с соседками о житье-бытье, мать сунула ей в крохотные лапки карандаш и бумагу: пусть хоть бумажку острым грифелем порвет, развлечется! – и затренькали женские языки, и перемыли косточки всем – начиная от власти и заканчивая дворничихой Даримой, матерщинницей и курильщицей, и, когда Ажыкмаа склонилась к коляске и вынула изрисованную бумагу из рук малышки и поднесла к глазам, она вмиг потеряла дыхание – и не сразу нашла его.

Шел танк. Под гусеницами умирали люди.

Мальчишка стоял перед танком, выбросив вверх тощие руки. Ветер трепал его рубаху и штаны.

В бок танка впечатался черный крест.

Все взрослое, настоящее.

И лишь солнце над танком и пареньком испускало лучи, выпускало их на волю, вон из шара – корявые, смешные, неловкие, детские.

– Гляньте, что Ника-то нарисовала!

– Карапузица... вот дает...

– Да нет, девушки, нет, это не она! Это ты, Ажыкмаа, ей чей-то рисунок дала! Листок из альбома по рисованию – выдрала! И не стыдно тебе! Признавайся, чей?

Балерина стояла, не шевелясь, и голову солнце палило, и тело стало невесомым, и жизнь ничего не весила – она плыла в пространстве, плыла над землей, парила, и руки взлетали, и она была женщина-птица, и знала: вот так, летящей в небесах птицей, дочка когда-то и ее нарисует.

Женская невесомая рука медленно провела по потной волосатой мужской груди, по пылающим пластинам мышц, до ребер, до пупка, ощупывая мертвых червей старых шрамов, и упала, и застыла на простыне.

Чореме, чореме. Голода давно нет. Сытости нет. А вокруг Нью-Йорк, и стеклянные глаза в каменных глазницах таращатся на нее, на старуху Ажыкмаа Хертек, отгулявшую танцовщицу. Она так и осталась Хертек; не взяла фамилию мужа, ведь уже знаменитой была. Не любила красную звезду; не приняла модное тайное христианство; когда Нике было пять лет, дочка поднимала раскосое барсучье личико вверх, хитро улыбалась, показывая дыру меж зубов, и изумленно оповещала родню и гостей: «Папа – Ульянов, а мама – Хертек!»

Везде и всюду в небо, в заборы, в стены, в крыши, в занавеси были впечатаны золотые и алые профили бессмертного Ленина. Ленин, как оказалось, в детстве тоже был Ульянов, как папа, и это волновало девочку: разве имя не единственно?

Их кошку звали Муська, и кошку соседа Оскю-оола тоже звали Муська. Это надо было осмыслить.

Ее малютка нежно спрашивала ее: «Мама, а я Ульянова? Или я Хертек? Кто я?»

Старая Хертек медленно шла по старому Нью-Йорку, и город пытался обнять ее и поднять над стеклом и бетоном в самой опасной поддержке, но подламывалась под ногами каменная сцена, и уже плохо, ненадежно билось в груди каменное сердце.

Балерина не считала, сколько лет уже Нью-Йорк носит ее в себе, как она раньше, в детстве, носила повсюду с собой огромного темно-вишневого жука-рогача в спичечной синей коробке. Жук давно мертв. Она мертва. Еще шевелятся лапки, дрыгают усики, но это видимость одна. Видимость жизни. Обманка природы.

Балерина Хертек прилетела в Америку после того, как умерла Ника.

Ты помнишь, родная моя, как ты умирала? Я – помню. Ты сидела и рисовала, грызла карандаш, отшатывалась от рисунка, прикусывала губу, шурила узкие смоляные глаза: получается? нет? За плечами у тебя топорщились туго заплетенные черные коски твои, с искрящимися в них красными капроновыми ленточками. Бумага шелестела, грифель шуршал. У меня в ушах это шуршанье навек поселилось. Не выгнать ничем.

Ты крепко сжала карандаш. Я вышла из кухни, чайник в руке держала за горячую, обжигающую дужку, и я видела, как побелели твои пальцы. Я не смотрела на твое лицо – смотрела на пальцы. Почему-то только на пальцы. На пальцы одни.

И когда я подняла глаза – твоих глаз уже не было. Два выкаченных белых шара в извивах алых жил.

Ты бросила в сторону планшет с приклепленным начатым рисунком и стала заваливаться набок. Валилась медленно, так медленно, как сто раз валились карандаш и резинка из твоих сонных рук, и папа брал тебя на руки и нес в постель, и приговаривал: Ника, Ника, ты поспика, Ника-Ника-земляника.

Ника! Ника! Земляни...

Чайник выпрыгнул из моей руки, гулко стукнулся об пол, покатился, кипяток стал литься на пол, вокруг ног моих столбом встал густой ватный пар, половицы заблестели, будто бы я пролила не воду, а масло, и лишь чудом я не обварилась – кипяток обтек мои ноги, как остров, и его жадно всосали дыры и щели, ковры и половики.

Не успел дотечь до глянцевых ножек роля.

Я сама вязала половики: из старых чулок, из распущенных варежек, Никиных шарфов... из священной, гнилой, милой, старой шерсти...

– Дочка!

По кипятку я побежала к тебе. Ты уже упала со стула. Голова твоя лежала на половике, а коски вымокли в кипятке. Я выхватила тебя из-под катящейся дикой воды; ты не обварила ни щечки, ни пальчики. Милые, вечно рисующие – на бумаге, на песке, в воздухе – пальцы твои.

Я прижала тебя к груди, к животу. Еле держала. Ты была уже тяжеленькая. Тебе уже исполнилось двенадцать. Папа смеялся: двенадцать – счастливое число! Двенадцать часов, двенадцать апостолов... двенадцать – месяцев... двенадцать еще чего-то...

– Доченька, что с тобой?!

Твоя головка клонилась с моего плеча – вниз, все вниз и вниз. Вымокший колонковый хвост косы кисточкой щекотал мне руку. Я целовала твою смуглую щеку с тремя кучно сидящими родинками, твою вздернутую губку, твою черную челку, твои закатившиеся косые глазенки. Зверенок мой! Ежонок мой! Тарбаганчик!

– Дима!

Мой голос бился и плыл зубастой, пойманной на блесну щукой отдельно от меня. Муж выскочил из спальни. Он вернулся из своей последней экспедиции на Вилюй. Они нашли на Вилюе алмазы. Я шутила: почему вы не выловили из Вилюя золото Колчака!

Белые глаза Никодима. Белые белки Ники. Белый твой фартучек, дочка – ты так сидела и рисовала в школьной форме, не сняла ее, так, ногу под ногу подвернув, уютно подложив под тощенький, как у меня, балетный задик, приоткрыв рот, тяжело и быстро и хрипло дыша – ты так всегда дышала, когда рисовала, – ты водила, и водила, и царапала карандашом по листу, и под ударами грифеля гнулся планшет, и откидывала ты голову назад и вбок, озирая то, что рождалось у тебя под пальцами; а рождалось то, чего ты не видела никогда раньше, не слышала, не знала, не любила, и ненавидеть не пришлось.

Белый эмалированный чайник, на боку лежащий, пустой.

Вытекли боль и ярость.

– Боже мой!

– Дима, ноль три...

Черная трубка, черный телефон, черный шнур.

Я глядела, как мой муж размахивается и швыряет черный череп телефона об стену.

Отзвучали тусклым безумным эхом рояльные золотые струны.

– Отключили линию! С утра! Ремонт!

– К соседям беги!

– Дура, у соседей же тоже...

– На улицу! Лови машину!

Как был, в пижаме полосатой, поскакал. Я рванула балконную дверь. Снег, шел медленный и сонный снег, он чертил сонные белые полосы сверху вниз, с неба на землю, а потом острый белый карандаш вздрагивал, и по серой, по черной бумаге вел линию вверх, все вверх и вверх, с земли на небо.

Так белым, серебряным была заштрихована вся нелепая черная не нужная никому земля.

Так нарисовала на черном, гуашью подмалеванном ватмане ты, моя дочь.

Прежде чем умереть.

Я держала тебя на руках, а Никодим убежал ловить машину, любую, все равно: грузовик, самосвал, фуру, он мог и трамвай остановить, я знала, – а глаза мои упрямо и преступно косили на твой неоконченный рисунок.

Что там? Неужели мать, у которой умирает, а может, уже умерла дочь, так любопытна?

Зрачки прокалывали, зрачки змеились, зрачки ползли и вспыхивали. Зрение еще служило мне, и я тогда была ведь еще не старуха; так зачем я так подслеповато шурилась, зачем собирала собачьи складки на лбу, пытаюсь разглядеть и запомнить?

Хлопает дверь в подъезде, внизу. Муж поймал машину, сунул деньги в мокрую руку шофера, много денег, и прорычал: «Жди!»

Зрачки обнимают черный лист, по нему вкось идет сумасшедший, веселый белый снег.

И за окном, и за балконной распахнутой дверью он тоже идет.

На рисунке черное небо. Белая стена. Ржавая труба. Черный дым из трубы.

Худая как палка женщина и девочка, у которой насквозь светятся ребра, крепко обнимаются. Покрывают последними поцелуями друг друга.

В открытую черную дверь тянутся, тянутся белые голые тела. Люди идут. Ноги их идут. Ноги идут. Идут.

Куда идут? Они идут в смерть.

А может, смерть – счастье для того, кто устал жить?

Мама, шепчет дочка женщине, мама, ты только не бойся, они нас до конца не убьют, что-то ведь останется после нас, что-то будет, ведь что-то, что-то наше, живое, навсегда, дай я вытру слезки твои, не надо так, мы просто будем с тобой очень крепко держаться за руки, очень крепко, я знаю, они все врут про то, что это помывка, это не баня, там пускают газ, я знаю, так ты вдохни сразу глубоко, очень глубоко, и мы просто уснем, слышишь, уснем, а потом проснемся в раю, ты же сама учила меня: молись, и ты будешь в раю!.. и вот я все молюсь, молюсь, а вместо рая будет черный дым, и мы с ним улетим, но зато какая воля, простор какой, и мороз вместо слез, и звезды, и деревья внизу, и белые поля, и люди маленькие, мышки или жучки, лиц не различить, взрослые или детки, с высоты не понять, мамочка, не плачь, мамочка, идем, мамочка, зачем, мамочка!.. смотри!

Я посмотрела на тебя, доченька моя. На твое личико, тебе в глазки. Глаза уже не видели, лицо посинело.

– Дима, где ты, – медленно и беззвучно сказали мои деревянные губы.

Когда в гостиную вбежали шофер, сосед и муж, я так и стояла с тобой на руках. Голова твоя свисала вниз. Ноги свисали. Ты вся была уже очень тяжелая, будто бы я не девочку мою, а мешок с сахаром или солью держала; и я видела – не бьется синяя, тщательно прорисованная остро заточенным синим карандашом извилистая жилка на твоей тощей гусиной балетной шейке.

– Ажыкмаа! Давай ее!

Папа выхватил тебя у меня из рук, грубо отнял, навсегда.

Я не успела ни схватиться за тебя, ни остановить время.

Твои ноги мазнули по выгибу черного рояльного бока.

Мужики грубо, громко затопали вниз по лестнице тяжелыми грязными башмаками; я нелепо, беспомощно ринулась за ними, взмахивая руками, как в моем знаменитом на весь Кызыл па-де-де из балета «Бахчисарайский фонтан». Кызыл, как давно мы в тебе жили. В жизни иной. Мы выбежали в грязный вечерний двор, и это была Москва. Мы ехали по широким как море проспектам и узким как ущелья улицам, и это была Москва. Мы кричали в приемном покое больницы: «Скорее! У нас дочь умирает!» – а нам навстречу шел развалистой павлиньей походкой дежурный толстый врач, и в одной руке держал бутерброд с копченой колбасой, в другой початую бутылку минералки, и это была Москва. И я была мертвая забытая балерина, а муж мой знаменитый столичный геолог, и это была Москва.

И я глядела, как дочери моей прокалывают руку толстой иглой, и кладут на узкую, как долбленка, каталку, и везут, увозят навсегда, и грохочут колеса по коридору, а я бегу, растрепанная, следом, и, как каталка, грохочу костями и сердцем, и все вокруг грохочет, и я хочу, чтобы ты жила, и я не хочу жить.

– Спасите ее! Прошу вас!

Каталка въезжает в закрашенные белым снегом двери. Там холодно. Там царство льда. Туда меня не пускают.

– Сюда нельзя!

Я сажусь у дверей операционной на пол, обхватываю острые колени руками и так сижу. Час. Два. Три.

Мне предлагают сесть. Меня пытаются поднять, ухватив под мышки. Меня хотят напоить горячим чаем. Я отворачиваю голову. Я не могу говорить. Я не могу двигаться. Я не могу жить. Моя дочь умирает!

Я не видела, где Никодим. Он исчез, и, помню, я смутно и легко подумала: «Навек».

Нет ничего навечного. Ничего навсегда. Есть жизнь, она меняется, и есть смерть, и она – неизменна.

Далеко, высоко играет радио. «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица». Внутри меня слепо, безумно танцует вальс сердце.

Дверь открылась, и голос над моим затылком холодно, снежно сказал:

– Мужайтесь. Вы мать?

Он говорил, но я больше не слышала ни слова.

Снег, вместе с миром и дымом, завертелся перед глазами, свился в змею, в коловрат, и сквозь мельтешенье метели я увидела твое лицо, доченька. Ты, веселая лиска, снежная киска, махала мне сквозь снег рукой, отмахивала снег от лица, он садился на твои брови и ресницы, на дегтярную гладкую челку, твои раскосые глазенки бежали мне навстречу, и зубки у тебя в улыбке были теперь все как на подбор, молочные повывпали, выросли все навечные, бессмертные, и вся ты тряслась от хохота над ночью и смертью, ты кричала мне сквозь снег: «Мама, ну что ты разнюнилась! Не бойся! Смерти же нет, нет!» – а я хватала ночь руками, обжигала ладони, заговаривала смерти зубы, давала времени пощечины, все бесполезно, снег шел и уходил, ночь шла и уходила, уходили все, уходило все, и я вставала с холодного кафельного пола и уходила, и никто не останавливал меня, и никто не накинул мне на плечи теплое пальто или мохнатую элегантную шубку, как и приличествует известной балерине, и я выворачивала ноги по-балетному, носками наружу, пятками внутрь, и я отбрасывала голову назад, и гордо тянула, вытягивала шею, все думали, я лебедь, а я оказалась на деле старая облезлая гусыня, и гусиная глотка хрипло и бессмысленно кричала, и гусиная кожа обтягивала костлявые члены, и у гусыни сегодня умер единственный гусенок, и она шла вон из человеческой больницы, пьяно качаясь, и лепила губами детские молочные лепешки: доченька, я все поняла, доченька, я не боюсь, я теперь уже ничего не боюсь, лети, лети далеко, носи жизнь мою в клювике, а я последний рисунок твой сохраню, я все рисунки твои сохраню, потому что я, гусыня, родила ангельскую вольную птицу, и нельзя заточить тебя в клетке времени, нельзя, нельзя: тебе нужна смерти свобода.

Старая балерина Ажыкмаа Хертек шла вперед, все вперед и вперед, и Нью-Йорк расступался перед ней, расходился веерами то шикарных, то каторжных железных улиц, разлетался бешеными початками реклам и ворковал сизыми, лиловыми голубиными зобами на лавках в голых зимних скверах.

Она остановилась на перекрестке, рядом с урной, доверху набитой мусором, и синим толстогубым негром. Негр перебрасывал из руки в руку красные шары.

Сколько лет она жила здесь, а по-английски толком говорить не научилась.

Ей было лень.

Я устала, говорила тихо ей ее душа, а ты еще хочешь меня окунуть в холодное море чужих слов.

Ажыкмаа протянула руку и коснулась белого обшлага рубахи, торчащего из-под толстого драпового пиджака уличного гистриона.

– Ты, – сказала она по-русски, очень печально, – зачем ты жонглируешь тут? Сидел бы дома, пил бы кофе. Или мартины. Или виски. Где ты живешь?

Негр поймал все шары в руку, пожал плечами, улыбнулся. Белое лезвие зубов разрезало серую мглу утра – солнце опять скрылось за налетевшими с океана тучами, тучи клубились и кувыркались, и Ажыкмаа поморщилась: плохой кордебалет.

– I don't understand you.

Ажыкмаа медленно вынула один красный шар у негра из розовой обезьяньей ладони. Хрупкий, как яичная скорлупа. Иглой прокололи яйцо и выпили белок и желток. Выпили жизнь.

Она подбросила шар и попыталась поймать его. Ладони хлопнули, шар пролетел мимо, упал на асфальт и разбился. Негр, улыбаясь, смотрел на красные осколки у его ног, обутых в новенькие мордастые кроссовки.

– Простите. Я не хотела.

Балерина повернулась и пошла дальше, и Нью-Йорк вздрогнул и снова заскользил, замерцал перед ней всеми огнями и углами, всеми фарами и барами, всеми витринами и машинами. Нью-Йорк плыл мимо нее большим серым океанским кораблем, непотопляемым и важным, почти бессмертным; губы усмехнулись, и мысль пролетела – нет бессмертных городов, все они когда-нибудь оказываются или под землей, или на дне океана.

Балерина Хертек шла и повторяла сухими земляными губами: доченька моя, где ты сейчас? Ты ведь не под землей, я знаю это твердо. Если ты в небе – дай мне знак! Если ты птица – прилети! Сядь на подоконник. Я покормлю тебя. Ты прочирикаешь мне про веселую, райскую жизнь. Ты не в земле. Почему ты все время рисовала войну? Выстрелы? Разрывы? Танки? Раненых? Госпитали? Бинты? Винтовки? Автоматы? Воронки? Сраженья? Ты еще агукала младенчески и писалась в коляску, когда я впервые вынула у тебя из рук твой первый военный рисунок. Никто и никогда не мог рассказать тебе, несмышленишу, про войну.

Но почему все время своей крохотной, как птичка, жизни ты рисовала, рисовала, рисовала детей под выстрелами, детей под гусеницами танков, детей в землянках? Детей, что едят кашу из солдатской каски?

Детей, что стоят в очереди в газовую камеру?

И эту девочку, что так похожа на тебя, только толстые коски не черные, как твои, а светлые, солнечные, – она стоит и крепко держит в руках пистолет, а перед ней на коленях стоит немецкий офицер, у него свастика на рукаве, у него ярость и страх в глазах, а девочка хочет выстрелить и не может, и кипят в глазах у нее слезы, и знает она, что выстрелит через миг, а этот миг – жизнь.

Жизнь снится. Балерина танцует. Солдат стреляет. Пекарь печет сладкий пирог. В печи крематория жгут трупы. Жгут наши с тобой трупы. Доченька, ты не труп. Я похоронила своего мужа, твоего отца, но я никогда не похороню тебя. Ты сейчас сидишь и рисуешь; я приду домой, на Лексингтон-авеню, захочу открыть дверь ключом, а дверь открыта. И я пройду в комнату, дрожа: а вдруг воры! – и радуясь: ты вернулась, вернулась. Ты сидишь около окна, локоть на подоконнике, рот вымазан черничным пирогом. На коленях планшет, к нему приколот лист бумаги. Ватман не закрашен. Он чисто-белый. И черный мягкий грифель, почти уголь, у тебя в руке.

Грифель скользит. Линия льется. Рисунок поет и дышит. Он быстрый, мгновенный. Как вдох. Как вздох. Вдохнуть – и выдохнуть: нарисовать. Я боюсь посмотреть, что там. Я боюсь, что ты меня увидишь. Я украдкой гляжу через твое плечо. Оно чуть выпрастывается из белой холщовой ткани: это я тебе купила вчера на распродаже в Квинсе прелестную, струящуюся белой рекой рубаху из чистого льна. Белое, чуть голубоватое плечо, а губы розовые, карамельные. Ты чуть покусываешь их. В иссиня-черной густейшей челке уже просверкивают странные седые нити. Ах нет, конечно, ты не постарела за эти годы: это просто вы там, в небесах, справляли Рождество, и серебряный дождь запутался в волосах, да так и остался. Ты стреляешь глазами – туда-сюда, туда-сюда. Ты изучаешь рисунок. Ты лепишь его и благословляешь его глазами. А если рисунок плохой – ты безжалостно, смеясь беззвучно, смуглыми пальчиками рвешь его. И бросаешь обрывки бумаги под стол. Под стул. Жаль, у меня камина нет, чтобы ты неудачный рисунок сожгла.

Губки твои шевелятся. Я почти слышу, как ты шепчешь: мама, я никогда не буду ничего и никого жечь. Никогда. И ты не жги, пожалуйста, мои рисунки. Никогда!

Да что ты, доченька, как я могу сжечь твои рисунки! Это единственное, что осталось у меня в жизни.

И в смерти. Да, и в смерти.

Мама, ты видишь, что я нарисовала?

Дай погляжу. Я чуть ближе подойду, хорошо? Да, вижу. Девочка. У нее косы, как у тебя.

Мама, это не я, и в тоже время это я. Я не знаю, как тебе объяснить.

Я понимаю. Я все понимаю. Можешь не говорить.

Нет, я скажу. Эта девочка, понимаешь, я знаю все, что с ней было.

Знаешь? Ну вот и хорошо. И хорошо. А это кто?

Это мальчик. Он несчастный. Я тоже все про него знаю. Он потом станет...

Не надо! Я все знаю, кем он станет.

А это, смотри, мальчик на руках у девушки! И этот мальчик – я, и эта девушка – я. Мама, ты думаешь, я сумасшедшая?

Я никогда так не думала и не думаю, доченька. Я пытаюсь понять.

Понимаешь, мамочка, эти все люди – я, и я одна – все эти люди. Ты знаешь, им тяжело пришлось. Извини! Приходится.

Как это приходится? Как? А, да, я понимаю, прости.

Ну да, ты поняла. Это все происходит с ними. Сейчас. Я живу в них сейчас. Я вижу их глазами. У меня их руки. Сейчас я девочка с пистолетом, потом мальчик с железной миской, потом девочка с бутылкой кьянти, потом младенец в колыбельке, и я ору, как поросенок, и я пачкаю пеленки. Смеешься надо мной?

Что ты, родная моя, жизнь моя! Как я могу смеяться! Я пытаюсь... представить...

Мам, иди сюда ближе. Ближе. Еще ближе. Я скажу тебе на ушко. Наклонись. Вот так. Знаешь, я ото всех них немножко устала. И я решила остаться самой собой. И я попросила...

Что ты замолчала, доченька?

Да так. Ничего. Не обращай вниманья. Видишь, какой красивый рисунок получился?

Ажыкмаа наклонилась вперед, ближе, еще ближе. Ухватила дрожащей рукой за спинку старого венского стула. В ее нью-йоркской квартире стояла старая мебель и висели старые пыльные гардины. Красные тяжелые гардины, просвеченные солнцем на закате, наполняли комнату кровью. И красное старое лицо балерины неотрывно гляделось в алый огромный аквариум старого зеркала.

Держись крепче. Держись. Ты на пуантах. Ты полоумная Жизель. Твоя дочка гордится тобой. Она громче всех хлопает тебе в зрительном зале, в краснобархатной ложе с золоченой пряничной лепниной.

Гляди на рисунок. Разгляди его. У тебя немного времени.

Намеченное двумя штрихами узкое голодное лицо. Горбатый нос. Пышнолетающая ночь волос. Худая и голая. Это еврейка. Глаза навывкате. Бессильная улыбка. Ребра пересчитать можно. Закрывает грудь рукой, другой прикрывает живот. Грудь висит, тощие ноги. А живот большой. Беременная? Доченька, неужели это тоже ты?!

Ее девочка медленно, медленно поворачивается. Закатное солнце заливает подоконник чужой, иноземной, рыбьей кровью. Косые глаза прожигают две дырки у балерины в груди. Ее дочка медленно проводит ладонью по карандашному наброску.

Это тоже я, мама. Меня зовут Двойра.

Лист бумаги медленно слетает на пол.

Балерина делает на старых, негнущихся ногах один немощный, жалкий балетный, изломанный шаг навстречу кухонному плетенному стулу, на нем сидит ее дочь.

– Ты живая!

Дикий крик сотрясает сдобный, коричный воздух душевной кухни.

Девочка стоит рядом с матерью. Она держит в руках рисунок.

– Это я, мама. Я умерла много лет назад.

Она подходит к окну. Разжимает руку. Рисунок летит по ветру, улетает. Голуби принимают его за белую птицу, летят вместе с ним.

Доченька, не умирай.

Я не могу. Я буду это делать еще много раз.

Я понимаю. Но если можешь ты, значит, могу и я?

Да. Если могу я, значит, можешь и ты.

И тогда улыбка медленно всходит на аккуратно подкрашенные жалкой высохшей, старой алой помадой губы балерины Ажыкмаа отпускает спинку стула. Она больше ничего не боится. Она опять говорила с дочерью. Надо запомнить этот день. На деревянных, скрипучих ногах она подходит к висящему на стене календарю, протягивает руку, берет привязанный к гвоздю карандаш, обводит красным число. Красный день календаря. Ника снова к ней приходила.

Она улыбается, сбрасывает с ног тяжелые туфли, стаскивает чугунными руками юбку, с легким стоном ложится на кровать, лицом вверх. Ледяные простыни больно обжигают ноги. Ажыкмаа заводит руки под голову, втягивает живот. Замирает. Одно тело уходит – душа вселяется в другое. Важно произносить правильные молитвы, когдаходишь в предсмертное состояние бардо. Когда она умрет, она точно станет белой птицей. Как ее дочь.

*Глаза раскрыты. Распахнуты. Глядят на девушку, ее волокут к виселице.*

*Девушка не вырывается; бесполезно. На ее груди картонка, надпись немецкая, шрифт кривой, непонятный. Глаза понимают. Еще шире распахиваются – над радужками видны белки. Ресницы колкие, острые, щеточкой. Светлые, сивые, желтые, выгоревшие. Радужки густо-синие, как летнее жаркое небо.*

*Жара. Легкий ветер мотает веревку. Девушку ставят на табурет.*

*Глаза глядят, и ветер ласкает лицо, сдувает с лица веснушки.*

*Не закрывай глаза. Смотри.*

*[ника рисунки]*

Я плохо выстирала физкультурные трико. Жирное пятно так и осталось на коленке.

«Ника, Ника, земляника! – дразнят меня в школе. – Ника, Ника, костяника! Ника, руку протяни-ка!»

Я, дура, протягивала руку, и мне ударили по руке кулаком.

А однажды Петька Мишарин так схватил за локоть и вывернул его, что кость чуть не сломал.

Правая рука. Моя рисовальная рука.

Впрочем, я могла бы и левой рисовать. Спокойно. Я уже пробовала. Получается.

Мой папа так радуется, когда я рисую. А мама плачет. Я рисую и рисую, и забрасываю рисунками весь пол, все диваны и кровати, всю комнату. Мама несет с кухни яичницу на шкворчащей сковородке и осторожно, как через ядовитых змей, переступает через мои рисунки.

Как себя помню – так все рисую, рисую.

Что такое рисунок? Изображение? Нет, воображение.

Я воображаю, и я рисую, и у меня – получается.

Я, когда рисую, не хочу ни есть, ни пить. Ко мне приходят люди и звери, феи и солдаты, цари и палачи, приплывают рыбы, прилетают птицы, и все орут, кричат, щебечут мне, молчат: нарисуй нас! Нарисуй! Нарисуй!

Если ты нас не нарисуешь – мы умрем.

Да вы же все умерли, шепчу я, вас же нет, нет! А вы все идете ко мне!

...а они все идут ко мне.

Я не спасусь от них. Не уберегусь.

Иногда у меня от них кружится голова, и тогда я утыкаюсь головой в подушку, прячусь под одеяло, смеюсь, как от щекотки, дрожу, как в жару. Мама подходит, щупает мне лоб и строго спрашивает: «Ника, ты не заболела? Я сделаю тебе укол!»

Моя мама умеет делать уколы. Она никогда не вызывает мне врача.

С тех пор, как участковый врач сделал мне укол, а я чуть не умерла.

Я и правда тогда умерла, но я же не стану это объяснять ни маме, ни папе.

Я шагнула в белый туман, он расступился, и меня обступили все они, кто каждый день приходил ко мне и просил: нарисуй, нарисуй! Я могла их всех потрогать. Даже обнять. Когда я подходила к каждому из них – я превращалась в него самого.

Подошла к солдату в каске, с руками в крови – превратилась в солдата. Подошла к тощей как скелет девушке с копной волос – в нее превратилась. Отступила на шаг – опять стала самой собой. Шагнула к девчонке, мы с ней одного роста были, ровесница моя, даже помладше; косы белые корзинкой на затылке лежат, платье коричневое, с заплатами на локтях. А вместо туфелек – калоши. Я взяла ее и обняла. И гляжу ее глазами: никакой меня нет, а руки мои вперед протянуты, в пустоту. Я закинула руку на затылок, пощупала – так и есть, косы корзинкой!

Я очень испугалась. Я поняла: после смерти вот так все и будет. А где же я? Как же вернуться? Крикнула – тишина. Туман опять обнял меня, завернул в белую свою простыню, и из тумана выплыли мамины руки со шприцем, и на ее руки, на мое лицо капали ее слезы. Она улыбалась. И я улыбнулась ей и сказала: «Мама, совсем не больно! Я ничего не почувствовала!»

А папа наутро принес целую сетку ананасов, апельсинов, персиков и много баночек черной и красной икры. Я спросила его: откуда это волшебство? А он нахмурился и ответил: из кремлевской столовой.

А что такое кремлевская столовая?

А зачем тебе это знать?

Мне и знать-то ничего не нужно.

Я и так уже знаю все.

Мне нужно только рисовать. Рисовать.

Мальчик в бархатной курточке, с чистеньким белым воротником. Он смотрит сначала на меня, потом чуть вбок. Он сидит за овальным обеденным столом, перед ним фарфоровый прибор, серебряные вилки, нож как зеркало, в него можно смотреться. Рядом с ним сидят еще два мальчика, девочка, мужчина и женщина. Семейство обедает. А я их рисую. Мальчик в бархатной курточке сидит ко мне в профиль, очень хорошо, пусть вот так и остается подольше, тогда я успею.

И я успеваю. Потому что в светлый воздух давней гостиной врываются другие люди. Белобрысая девчонка; ее кто-то бьет, не вижу, кто, кажется, мужчина. Она не визжит – сжала зубы. Ярость на бледном личике, похожем на кошачью морду. Надо успеть зарисовать быстро, рисунка не получится, только набросок. А то она сейчас исчезнет. Или закричит от боли, и я испугаюсь и выроню карандаш из пальцев.

Бумага, не падай с планшета, не лети белым снегом. Дальше времени не улетишь.

Я сама тебя отпущу.

Отрываю кнопки. Ватман летит на пол. Я вслепую прикрепляю к планшету чистый лист. Зима. Сугробы. Мальчишка тащит обледенелые доски. Тянет, задыхается. Черные дома. Сумерки. Вдалеке, сквозь ущелье старых угрюмых домов, светится белым воском зальдевая река. Я слышу, как доски скрежещут по тротуару. Вижу мелкие, как щучьи икринки, капли пота на висках мальчишки, под рваной ушанкой. В небе гул. Черный самолет. Мальчишка ложится животом на снег, на лед. Прижимает к ушанке руки в огромных рукавицах. Далеко, за рекой, разрывы: самолет сбросил бомбы и улетел. Парень встает, и я близко вижу его лицо. Чуть раскосые глаза. Щеки ввалились. Я быстро, стремительно рисую его – надо успеть.

Лист сорвать, бросить на пол. Другой. Быстрей. Дети, как смотрят они на меня! Это дети или ангелы? Они сидят на странных нарах – один внизу, другой наверху. Пароход? Поезд? Или у них такая спальня, как лагерь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, считаю я детей. Мне ровесники, один мальчик старше, остальные все девчонки, и три совсем крохотные. Сказочные феечки. Красные Шапочки, только без шапочек. Они печально глядят друг на друга. Самая маленькая замечает меня. Она видит меня, я вижу ее. Наши глаза плавают по лицам друг друга, гладят щеки, волосы. Малютка улыбается мне. Сгибает пальчики: иди сюда! Я не могу, показываю я ей рукой. Не могу!

И тогда она плачет. Всхлипывает. Ротик ее разевается, и она кричит, но я не слышу крика.

Я уже рисую. Накладываю быстрые штрихи на белизну. Стремительной линией обвожу контуры фигур. Эти дети, они должны быть, они будут нарисованы мной. Странное чувство: пока я их рисую – я уверена, что я их спасу.

Что они, даже если умрут, все равно будут жить.

Грохот. Страшный грохот. Вижу перед собой танк. Я знаю, что такое танк, мой папа на войне был танкистом. Папа сам рисовал мне танк, а потом я его видела в фильмах, и я его запомнила. Нельзя мне лечь под его гусеницы. Внутри танка сидит человек. Я вижу его. У него все грязное, черное лицо. А рот красный. И рот кричит. Стой! Я сейчас нарисую тебя. Тебя не убьют.

Быстрее, быстрей. Ты можешь опоздать.

Я отрываю бумагу от планшета. Мне некогда приколоть кнопками другой лист. Я хватаю его и бросаю на пол, и сама ложусь на пол, на живот. Я рисую лежа мою войну, и я не ней солдат. Нет! Я художник на ней. Художник должен все успеть зарисовать, все, что он видит. Зачем? Я не знаю. Я просто чувствую: так надо.

Рисуй, рисуй. Быстрей, быстрей. У тебя мало времени. Как? У меня мало времени? Да у меня его целый вагон! Эшелон! Эшелон несется мимо меня, а я стою на платформе, в клубках грязной гари, утираю нос кулаком. Дым сбивает меня с ног, и я встаю, и на руках у меня ребенок, завернутый в чистые крахмальные пеленки, на голове у него чепчик с кружевами, я не знаю, мальчик это или девочка, нет, знаю – мальчик. Я крепко прижимаю его к себе. У меня

заняты руки, я не могу рисовать! Если я отпущу младенца – он выпадет у меня из рук, ударится об пол и голову разобьет! Нет! Нельзя!

Из другой комнаты в лаковых туфлях на каблуках выходит женщина. На затылке пилотка. Белые метельные пряди висят вдоль щек. Смотрит надменно. Она моя хозяйка. Я прямо гляжу ей в глаза. Я свободная! Я никогда не была ничьей прислугой! Я советская пионерка! У меня красный галстук на груди!

Наклоняю голову. Скашиваю глаза. Нет галстука. Нет меня. И я знаю, что у меня опять, опять косы на затылке русой корзинкой.

Где зеркало, чтобы поглядеться?!

Нет зеркала. Нет.

Ребенок тянет руки. Он очень тяжелый. Я могу положить его на пол. Тогда я заработаю пощечину от белобрысой в пилотке.

Между пальцами у меня торчит карандаш. Белобрысая делает шаг вперед, каблуки цокают, как выстрел. Она выхватывает у меня из судорожно сжатых пальцев карандаш. Орет, но я не слышу. Это чужой язык. Я не знаю его. Это чужой ребенок. Он не мой.

Я осторожно сажусь на пол у ног белобрысой, потом кладу ребенка рядом, потом ложусь сама. На живот. Живот холодят голые доски. Нет, это не доски. Впалый живот мой и деревянные ребра холодит камень. Бетон. Или это земля? Голая, милая земля?

Медленно повернуть голову. Оглядеть сарай. И толпу бедного народа в нем. Женщины, худые как я, с глазами диких зверей, с перекошенными от голода и слез ртами. Они умирают. Стены сарая, где мы все умрем, отделаны белым кафелем. Тише! Тихо! Не говорите ничего. Просто смотрите на меня. Смотрите друг на друга. Запоминайте друг друга. Сейчас вы вдохнете, но уже не выдохнете. Вы задохнетесь, и я задохнусь вместе с вами.

Где мой ребенок? Где мой ребенок?!

Шарю руками по жесткой, как бетон, земле. Главное – не дышать. Я нашла карандаш. Я просто сама выронила его. А бумага исчезла. Она сгорела.

И на этой твердой, наждачной земле, раскинувшейся подо мной широким, огромным подносом, на котором мимо меня несут дома и кусты, танки и эшелоны, костры и виселицы, станционные каморки и красные кремни, горящие избы и тонущие корабли, животом еще живым лежа, жестким как кость карандашом, алмазным грифелем рисую – рисую – рисую – все, что вижу, и все, что не вижу: вижу лица и вижу сердца, не вижу судьбы, но рисую судьбу, не знаю ничего, но карандаш упрямо процарапывает неподатливую землю, и глубже, яростнее всаживаю грифель, и обвожу жирнее и резче контур, чтобы издалека, с дозорной вышки, с башни, с самолета было видно, чтобы видно было из другого времени, где меня уже не будет никогда, – вижу вас, милые мои, детки мои, ведь я никогда не стану взрослой, я знаю это, а вы – кто станет, кто не станет, это неважно, не плачьте об этом: мы все, все до одного, были детьми, и все останемся детьми, и все мы были на войне, только все тщательно позабыли об этом, никто о войне не хочет вспоминать и видеть ее, и рисовать ее, а ее и вспоминать-то не надо, она идет всегда, и мы все на ней солдаты, и я тоже – солдат, и я все-таки не выдержала, вдохнула отраву и умерла в газовой камере, зажав в руке родной мой острый карандаш, а когда очнулась – увидела перед собой горы, снежные огромные горы, и синее небо, и орел летит высоко, и тот младенец, кого я держала на руках, лежит без движения перед раскосой женщиной с коричневым грубым, исполосованным морщинами лицом, и женщина песню поет, ее губы шевелятся, а я не слышу: так мощно гудит ветер, он гудит о невозвратном.

Я вижу вас всех. Вижу. Вижу.

Я рисую вас всех. Рисую. Рисую.

Мама готовит ужин. Папа читает газету. Синим цветком горит телевизор. В телевизоре голова нашего вождя, губы жуят торжественные умные глупые слова.

Девочка видит все. Видит. Видит.

Девочка рисует. Рисует. Рисует.

Девочка знает: ее крепко за руку возьмут и уведут отсюда навсегда; поэтому надо успеть; рисовать, рисовать, рисовать.

Всех детей нарисовать. Все танки. Все звезды. Все крики. И все небеса.

*[интерлюдия]*

### **Так говорит Гитлер:**

Дуче!

Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения. Я полагаю, что не в праве больше терпеть положение после доклада мне последней карты с обстановкой в России, а также после ознакомления с многочисленными другими донесениями. Я прежде всего считаю, что уже нет иного пути для устранения этой опасности. Дальнейшее выжидание приведет самое позднее в этом или в следующем году к губительным последствиям.

Обстановка. Англия проиграла эту войну. С отчаяньем утопающего она хватается за каждую соломинку, которая в ее глазах может служить якорем спасения. Правда, некоторые ее упования и надежды не лишены известной логики. Англия до сего времени вела свои войны постоянно с помощью континентальных стран. После уничтожения Франции – вообще после ликвидации всех их западноевропейских позиций – британские поджигатели войны направляют все время взоры туда, откуда они пытались начать войну: на Советский Союз.

Оба государства, Советская Россия и Англия, в равной степени заинтересованы в распавшейся, ослабленной длительной войной Европе. Позади этих государств стоит в позе подстрекателя и выжидającego Североамериканский Союз. После ликвидации Польши в Советской России проявляется последовательное направление, которое – умно и осторожно, но неуклонно – возвращается к старой большевистской тенденции расширения Советского государства.

Затягивания войны, необходимого для осуществления этих целей, предполагается достичь путем сковывания немецких сил на Востоке, чтобы немецкое командование не могло решиться на крупное наступление на Западе, особенно в воздухе. Я Вам, дуче, уже говорил недавно, что хорошо удавшийся эксперимент с Критом доказал, как необходимо в случае проведения гораздо более крупной операции против Англии использовать действительно все до последнего самолета. В этой решающей борьбе может случиться, что победа в конечном итоге будет завоевана благодаря преимуществу всего лишь в несколько эскадр. Я не поколеблюсь ни на мгновение решиться на этот шаг, если, не говоря о всех прочих предпосылках, буду по меньшей мере застрахован от внезапного нападения с Востока или даже от угрозы такого нападения. Русские имеют громадные силы – я велел генералу Йодлю передать Вашему атташе у нас, генералу Марасу, последнюю карту с обстановкой. Собственно, на наших границах находятся все наличные русские войска. С наступлением теплого времени во многих местах ведутся оборонительные работы. Если обстоятельства вынудят меня бросить против Англии немецкую авиацию, возникнет опасность, что Россия со своей стороны начнет оказывать нажим на юге и севере, перед которым я буду вынужден молча отступать по той простой причине, что не буду располагать превосходством в воздухе. Я не смог бы тогда начать наступление находящимися на Востоке дивизиями против оборонительных сооружений русских без

достаточной поддержки авиации. Если и дальше терпеть эту опасность, придется, вероятно, потерять весь 1941 год, и при этом общая ситуация ничуть не изменится. Наоборот, Англия еще больше воспротивится заключению мира, так как она все еще будет надеяться на русского партнера. К тому же эта надежда, естественно, станет возрастать по мере усиления боеготовности русских вооруженных сил. А за всем этим еще стоят американские массовые поставки военных материалов, которые ожидаются с 1942 года.

Не говоря уже об этом, дуче, трудно предполагать, чтобы нам предоставили такое время. Ибо при столь гигантском сосредоточении сил с обеих сторон – я ведь был вынужден со своей стороны бросать на восточную границу все больше танковых сил и обратить внимание Финляндии и Румынии на опасность – существует возможность, что в какой-то момент пушки начнут сами стрелять. Мое отступление принесло бы нам тяжелую потерю престижа. Это было бы особенно неприятно, учитывая возможное влияние на Японию. Поэтому после долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше разорвать эту петлю до того, как она будет затянута. Я полагаю, дуче, что тем самым окажу в этом году нашему совместному ведению войны, пожалуй, самую большую услугу, какая вообще возможна.

Таким образом, моя оценка общей обстановки сводится к следующему:

1. Франция все еще остается ненадежной. Определенных гарантий того, что ее Северная Африка вдруг не окажется во враждебном лагере, не существует.

2. Если иметь в виду, дуче, Ваши колонии в Северной Африке, то до весны они, пожалуй, вне всякой опасности. Я предполагаю, что англичане своим последним наступлением хотели деблокировать Тобрук. Я не думаю, чтобы они были в ближайшее время в состоянии повторить это.

3. Испания колеблется и, я опасаясь, лишь тогда перейдет на нашу сторону, когда исход всей войны будет решен.

4. В Сирии французское сопротивление вряд ли продлится долго – с нашей помощью или без нашей помощи.

5. О наступлении на Египет до осени вообще не может быть речи. Но, учитывая общую ситуацию, я считаю необходимым подумать о сосредоточении в Триполи боеспособных войск, которые, если потребуется, можно будет бросить на Запад. Само собою понятно, дуче, что об этих соображениях надо хранить полное молчание, ибо в противном случае мы не сможем надеяться на то, что Франция разрешит перевозку оружия и боеприпасов через свои порты.

6. Вступит ли Америка в войну или нет – это безразлично, так как она уже поддерживает наших врагов всеми силами, которые способна мобилизовать.

7. Положение в самой Англии плохое, снабжение продовольствием и сырьем постоянно ухудшается. Воля к борьбе питается, в сущности говоря, только надеждами. Эти надежды основываются исключительно на двух факторах: России и Америке. Устранить Америку у нас нет возможностей. Но исключить Россию – это в нашей власти. Ликвидация России будет одновременно означать громадное облегчение положения Японии в Восточной Азии и тем самым создаст возможность намного затруднить действия американцев с помощью японского вмешательства.

В этих условиях я решил, как уже упомянул, положить конец лицемерной игре Кремля. Я полагаю, т. е. я убежден, что в этой борьбе, которая в конце концов освободит Европу на будущее от большой опасности, примут участие Финляндия, а также Румыния. Генерал Марас сообщил, что Вы, дуче, также выставите по меньшей мере корпус. Если у Вас есть такое намерение, дуче, – я воспринимаю его, само собой разумеется, с благодарным сердцем – то для его реализации будет достаточно времени, ибо на этом громадном театре военных действий, наступление нельзя будет начать повсеместно в одно и то же время. Решающую помощь, дуче, Вы можете всегда оказать тем, что увеличите свои силы в Северной Африке, если возможно, то с перспективой наступления от Триполи на запад; что Вы, далее, начнете создание группировки

ровки войск, пусть даже сначала небольшой, которая, в случае разрыва Францией договора, немедленно сможет вступить в войну вместе с нами, и, наконец, тем, что Вы усилите прежде всего воздушную и, по возможности, подводную войну на Средиземном море.

Что касается охраны территорий на Западе, от Норвегии до Франции включительно, то там мы, если иметь в виду сухопутные войска, достаточно сильны, чтобы молниеносно про-реагировать на любую неожиданность. Что касается воздушной войны против Англии, то мы некоторое время будем придерживаться обороны. Но это не означает, что мы не в состоянии отражать британские налеты на Германию. Напротив, у нас есть возможность, если необходимо, как и прежде, наносить беспощадные бомбовые удары по британской метрополии. Наша истребительная оборона также достаточно сильна. Она располагает наилучшими, какие только у нас есть, эскадрильями.

Что касается борьбы на Востоке, дуче, то она определенно будет тяжелой. Но я ни на секунду не сомневаюсь в крупном успехе. Прежде всего я надеюсь, что нам в результате удастся обеспечить на длительное время на Украине общую продовольственную базу: Она послужит для нас поставщиком тех ресурсов, которые, возможно, потребуются нам в будущем. Смею добавить, что, как сейчас можно судить, нынешний немецкий урожай обещает быть очень хорошим. Вполне допустимо, что Россия попытается разрушить румынские нефтяные источники. Мы создали оборону, которая, я надеюсь, предохранит нас от этого. Задача наших армий состоит в том, чтобы как можно быстрее устранить эту угрозу.

Если я Вам, дуче, лишь сейчас направляю это послание, то только потому, что окончательное решение будет принято только сегодня в 7 часов вечера. Поэтому я сердечно прошу Вас никого не информировать об этом, особенно Вашего посла в Москве, так как нет абсолютной уверенности в том, что наши закодированные донесения не могут быть расшифрованы. Я приказал сообщить моему собственному послу о принятых решениях лишь в последнюю минуту.

Материал, который я намерен постепенно опубликовать, так обширен, что мир удивится больше нашему долготерпению, чем вашему решению, если он не принадлежит к враждебно настроенной к нам части общества, для которой аргументы заранее не имеют никакого значения.

Что бы теперь ни случилось, дуче, наше положение от этого шага не ухудшится; оно может только улучшиться. Если бы я даже вынужден был к концу этого года оставить в России 60 или 70 дивизий, то все же это будет только часть тех сил, которые я должен сейчас постоянно держать на восточной границе.

Пусть Англия попробует не сделать выводов из грозных фактов, перед которыми она окажется. Тогда мы сможем, освободив свой тыл, с утроенной силой обрушиться на противника с целью его уничтожения. Что зависит от нас, немцев, будет, – смею Вас, дуче, заверить, – сделано.

Обо всех Ваших пожеланиях, соображениях и о помощи, которую Вы, дуче, сможете мне предоставить в предстоящей операции, прошу сообщить мне либо лично, либо согласовать эти вопросы через Ваши военные органы с моим верховным командованием.

В заключение я хотел бы Вам сказать еще одно. Я чувствую себя внутренне снова свободным, после того как пришел к этому решению. Сотрудничество с Советским Союзом, при всем искреннем стремлении добиться окончательной разрядки, часто сильно тяготило меня. Ибо это казалось мне разрывом со всем моим прошлым, моим мировоззрением и моими прежними обязательствами. Я счастлив, что освободился от этого морального бремени.

*С сердечным и товарищеским приветом  
его высочеству главе королевского итальянского правительства  
Бенито Муссолини,  
Рим.*

*[елена померанская – ажыкмаа хертек]*

Дорогая тетя Ажыкмаа!  
Паздравляю вас с ПЕРВЫМ МАЕМ!  
Жилаю ЩАСТЬЯ!  
И Нике тожи ЩАСТЬЯ!  
Я научилась писать букву Я!  
Я ие раньше писала НА АБАРОТ!  
Крепко целую и Нику тожи!  
Лена  
а вот тут рисую КРАСНЫЙ ФЛАК!  
а тут рамашку!

## Глава вторая. Золото и медь

[дневник ники]

**17 января 1942 года**

*Мы очень плохо питаемся. У нас очень мало еды, и она все время кончается. Целый месяц уже у нас в шкафу нет гречки, риса и пшена. Перловки тоже нет. Город пустой и молчит. На улицах тихо так, как в больнице, когда тихий час. Я боюсь выходить на улицу. Баба Клава говорит – не выходи, а то убьют. Я все-таки вышла вчера. Иду и смотрю: люди навстречу мне идут. Но очень мало людей. Медленно шла женщина, в руках у нее была крошечная кастрюлька, там была еда. Я прошла мимо нее, и мне показалось – из кастрюльки пахнет картофельным пюре с мясом! И я повернулась и пошла за ней. Она оглянулась на меня через плечо, испугалась и пошла быстрее. И вдруг споткнулась, и чуть кастрюльку не выронила. Но крепко в нее вцепилась, не уронила. Женщина поправила крышку, заправила волосы за ухо, оглянулась на меня и с ненавистью сказала мне: «Сволочь! Катись отсюда!»*

*Меня никто и никогда так не называл. Теперь уже я испугалась и убежала. Бежала очень быстро, даже задохнулась.*

*И потом, когда подбегала к остановке улица Добролюбова, зацепилась носком ботинка за штакетник, упала плашмя и расшибла обе коленки. Больно очень, заплакала. Домой пришла вся грязная, на коленках дырки и кровь запеклась. Баба Клава мыла мне коленки в тазу синим мылом и ругалась на меня. А потом сказала: садись-ка лучше поешь, я свекольник сварила из сушеной ботвы.*

*Молодец баба Клава, она осенью ботвы засушила, на всякий случай.*

*Трамваи по улицам давно не ходят. Автобусы тоже. Дым идет не из труб, а из форточек. Люди топят «буржуйки», а котельные не работают. Лека Исакова пожаловалась мне, что у них «буржуйка» есть, ее папа принес с завода, а топить ее нечем – нет ни дров, ни угля. Еще Лека сказала: «Знаешь, Ника, у нас умер сначала дедушка Роберт, потом Митя, потом дядя Феофан, один за другим». Я сначала не поверила. Дядя Феофан был такой сильный, он нас с Лекой на плечах катал. Но Лека заплакала, и я все поняла.*

*Мне стало очень, очень страшно. А вдруг у нас дома тоже все начнут умирать?*

*Я закрыла глаза и представила: вот я умерла, и лежу на кровати, не двигаюсь, и уже ничего не увижу и не услышу никогда.*

*И так мне стало жутко, что я закричала, а баба Клава просунула голову в дверь и кулаком трясет: что ты вопишь как оглашенная!*

**25 января 1942**

*Мне очень жалко маму. Она так старается, чтобы мы были сыты. Чтобы не умерли.*

*Собирает на задах, в проходных дворах, у Вяткиных сараев, под снегом лебеду, проворачивает ее через мясорубку, смешивает с размоченным кусочком ржаного и с водой, и печет лепешки. Они противные, но если их хорошо посолить, их можно проглотить. И у тебя ощущение, что ты наелся.*

*Папа, когда приходит вечером домой, так печально смотрит на маму. А мама долго смотрит на пустую папину брючину, заправленную под специальную резинку. Бедная папина нога. Он никогда не говорил никому, как он ее потерял. Только мне. Его очень сильно били в тюрьме, и у него нога воспалилась, и образовалась гангрена, и из тюремной камеры его перевели в лазарет и там ногу отрезали. Я плакала, когда он мне это говорил. Когда никого дома*

не было, только я и папа, а он купил бутылку водки и сидел над ней за столом, как сын, пил и плакал. А я сидела у его ног на маленькой скамеечке и плакала вместе с ним. И мы оба жевали селедку, кусочки селедки, очень вкусной, жирной.

*Ну вот, зачем я про селедку вспомнила. Слюнки текут.*

*А слезы, как та селедка, соленые.*

*А теперь нас мама спасает. Ей на фабрике дают обед, так она заворачивает его в промасленную бумагу и нам приносит. Хорошо, что у нее есть рабочая продуктовая карточка. Я вижу, как мама хуеет на глазах. Она часто обхватывает себя руками за локти и трясется, как будто замерзла. Я спрашиваю ее: «Мама, ты чего трясешься?» А она стучит зубами, я вижу, как ее знобит, но она улыбается и говорит мне нарочно бодро: «Никуля, у нас на фабрике не топят, цех холодный, стою, как Папанин во льдах!» И смеется через силу, а рот у нее коричневатый, и зубы все почернели. Неужели это все-таки долго протянется? Впереди еще два месяца холодов и голода.*

*Я считаю, сколько времени мы голодаем. Получается, уже пять месяцев. Еда, которую мы едим, это не еда. Это один смех. Баба Клава шамкает: мы превратимся в железяки и гвозди, но мы не сдадимся! Я представила себе, как я – гвоздь, и меня вбивают в длинную доску, бьют огромным молотом по голове. И захохотала, а баба Клава дала мне подзатыльник.*

### **10 февраля 1942**

*Как я соскучилась по лету и теплу! Мне кажется, эта зима никогда не кончится. Вот как бы хорошо было сейчас открыть глаза и проснуться. За окном – лето и солнце, и школа закончилась, и можно собираться в деревню! Папа складывает дорожную сумку, мама гладит на гладильной доске яркие летние платья. Женя сидит с Мурлыкой на руках. Жене очень идут новые летние спортивные шаровары – мама сама ему сшила!*

*Я не проснусь никогда. Я никогда не сплю. Повернусь – и вижу: Женя лежит на кровати, у него лицо в виде треугольника, щеки ввалились. Перед новым годом он сильно простудился, ходил за водой к проруби, и его продуло в легкой шубейке. Мама лечила его чем могла. Даже ложку барсучьего жира с фабрики принесла. Но он никак не может поправиться из-за недоедания. Лежит и кашляет. Все громче и громче.*

*Мама садится в кресло, прижимает ладони к лицу, и из-под пальцев у нее слезы текут. Она отворачивается, чтобы я и баба Клава не видели ее слез. Она шепчет, и я слышу: если Женичка умрет, то и я умру.*

*И я плачу оттого, что мама Женю любит больше, чем меня.*

*А Мурлыки больше нет. Мурлыка исчез. Папа сказал, что его поймали и съели, скорее всего. Женя зажимал уши руками и колотился головой об стену. Пришлось сказать ему, что на самом деле Мурлыку не съели, что его видели наши соседи Придворовы, и что его, наверное, кто-то подкармливает и он ушел туда, к этим людям, потому что нам нечем его кормить.*

### **15 февраля 1942**

*Здравствуй, мой дневничок. Мне без тебя уже скучно. Мне сегодня придется одной идти за водой – папа на заводе, мама на фабрике, Женя лежит, и баба Клава слегла. Она долго крепилась, но все-таки слегла. У нее щеки стали совсем сморщенные, а скулы красные, горят как лампы, и рот пересох. Она все время шепчет: пить, пить. Я побежала дать ей воды – смотрю, а в кувшине воды больше нет, и в чайнике нет, и в ведре тоже.*

*За водой идти далеко. Три километра. Так папа говорит, что три. Мама же машет рукой и шепчет: все четыре. Мы возим воду на саночках в большом ведре, ведро плотно закрываем крышкой и завязываем тряпками, чтобы как можно меньше воды на снег пролилось.*

*Вот это же надо, дома ни капли воды, дожили. А баба Клава вдруг бормотала-бормотала тихонько, да вдруг как крикнет на всю квартиру: пить! Я вздрогнула, я шкатулку бабы Клаввы в руках держала, расписную, там на черном фоне сидят русские красавицы и прядут пряжу. Шкатулка упала на пол и треснула. Я быстро спрятала ее в шкаф. И меня посетила преступная мысль: а вдруг баба Клава умрет – и не заметит, что я ее шкатулку попортила?*

*Я подумала об этом совершенно спокойно. Как будто это и не я думаю, а кто-то другой за меня.*

*Я подошла к бабе Клаве и спросила ее: чаю хочешь?*

*И сама над собой посмеялась. Чай! Как странно звучит: пить чай! Мы его давно уже не пьем. Нет никакого чая, есть только кипяток, он и зовется чаем. Раньше, до войны, чай пили с вареньем, с печеньем, даже с медом. Папа привозил мед из Просека, настоящий липовый, и он был похож на золотую фольгу, так блестел. Сейчас у нас нет ничего к чаю. Ни крошки, ни корочки. Мы пьем кипяток с солью.*

*Соли в доме много. В магазинах ее сейчас не продают. В магазинах сейчас почти ничего не продают, хотя какие-то магазины еще работают. А у нас был запас соли, баба Клава еще до войны купила мешок соли и хранила его в Вяткиных сараях. Война началась, и мы перетасили мешок домой.*

*Ну, дорогой дневничок мой, надо мне тепло одеваться, укутываться в бабы Клавины шаль, ноги всовывать в валенки и идти за водой. На улице такой мороз – ресницы покрываются инеем, выйдешь и ослепнешь. И не дойдешь. Ноги даже в валенках замерзнут, станут как кочерыжки, и ты упадешь по дороге, и тебя никто не поднимет – уже вечер, темно, и людей мало. И будешь так лежать, и медленно замерзать.*

*А все равно идти надо. Воды нет. Придет мама с фабрики, захочет горячего питья. Потом придет папа с завода, без сил. Он иногда приходит и валится на пол прямо у порога, и костыль у него падает с грохотом, и он, как баба Клава, только кричит: «Пить!»*

*Ну что же, пойду. Если бы я верила в бога, я бы ему помолилась. Но бога никакого на самом деле нет, нам в школе всю правду рассказали.*

*[дитя лилиана]*

*Я очень рано помню себя. И первое, что помню, не лица, не предметы: запахи и звуки. Голос, он поет. Песню помню. Она широкая, как небо, и такая же светлая. Голос льется, льется прямо в меня, как в пустой кувшин, и наполняет меня до краев.*

*– Лодка моя легка, весла большие!.. Санта Лючия... санта... Лючия-а-а-а!*

*Песня кончается, и я прошу женщину ее повторить.*

*– Пожалуйста, еще! Еще раз! Ну!*

*– Что ты понукаешь, Лили! Я тебе не лошадь! Где-то на взморье... ветер чуть дышит... Легкий зефи-и-и-ир... парус колышет!*

*Старательно допев песню до конца, певица бесцеремонно берет меня на руки, будто я мяч или ракетка для лаун-тенниса, и переносит из кресла в кровать.*

*– А теперь спать, Лили! Ты мне за день надоела. Хуже тарантула! Ты совала свои лапы везде! Ты разбила сегодня кувшин с молоком! Хозяин меня убьет! Он подумает – я вру и сваливаю все на тебя! Он нипочем мне не поверит!*

*Надо мной, смиренно сидящей в кресле, над моей беловолосой головой женщина трясет смуглыми тяжелыми кулаками.*

Эта женщина – моя нянька, она из далекой калабрийской деревеньки, и ее зовут Маринетта. Она добрая, но иногда очень сильно кричит, орет до звона в ушах. Я не люблю, когда она кричит. Я люблю, когда она поет. Я могу слушать ее целый день. А вместо этого она заставляет меня то горох перебирать, то мастерить из бумаги бесполезных остроклювых журавликов. И кувшин я разбила нарочно. Чтобы ей отомстить. Она заставляла меня пить молоко, а я молоко ненавижу больше всего на свете.

Больше моей мамы.

Ведь моя мама бросила моего отца.

И бросила меня – такую красивую, славенькую, хорошую девочку. Совсем маленькую. У моей мамы сердца нет, так говорит нянька Маринетта.

Я ее уже потихоньку забываю. Думать о ней не хочу.

И не думаю уже. Почти не думаю. Ну совсем немножко. Самую малость.

А мой папа сначала пил вино, пил все подряд – и красное кьянти, и тосканское синее вино, и крепкую граппу, – а потом стал приводить домой новую женщину. Не женщину даже, а девушку. Не девушку, а совсем девчонку. Хилая грудка, тощий задок. Папа валил ее на диван и раздевал, срывал с нее тряпки, а Маринетта вбегала, всплескивала руками и вопила: «При ребенке?! При ребенке?! Побойтесь Бога, синьор Николетти! Побойтесь Бога!»

И мой отец, лежа, как на пляжном лежаке, на худой девице, оборачивал к няньке голову и выплевывал презрительно: заткнись, Бога нет, и счастья нет. Есть только жизнь, и я хочу жить, а не прозябать, ясно?!

У меня белые волосы, как у бедной мамы. У меня зеленые глаза, как у беглой мамы. Я очень похожа на маму, поэтому папа так ненавидит меня. Часто он берет меня за шкуру, поднимает в воздух, как больного щенка, и долго рассматривает. Будто бы на мне черные пятна, поганые корки. Будто бы я болею оспой или корью, и на моей коже красная вредная сыпь.

Ты как она, цедит отец, ты просто копия негодяйки Оливии. Вторая Оливия! Гадина! Ну я и влип, созерцать ее наглуую рожу всю жизнь, в облике этого отродья! Он держал меня, и воротник врезался мне в горло, и я задыхалась, и я думала – вот сейчас он убьет, задушит меня. Или ударит по голове чем-то тяжелым – книгой, кочергой; да просто кулаком. Я такая маленькая, тощенькая. Я умру сразу.

Отец швырял меня на продавленный диван. Пружины охали. А я молчала.

Диван, весь в винных пятнах, в белой слизи, в блевотине. Отец напаивает допьяна худую девчонку, она пьет много и жадно, оглушительно хохочет, потом ее рвет прямо на диван, она не успевает добежать до отхожего места, вставляет себе два пальца в рот, закатывает глаза, и меня страшат ее вывороченные синие белки.

Отец нанял мне няньку, чтобы я не осталась без заботы и ухода. Он сам редко когда подходил ко мне – Маринетта и купала меня, и кормила, и выводила гулять, как собачку, на поводке – застегивала на моей грудке ремень и прицепляла настоящий собачий поводок, чтобы я не убежала далеко. Потому что однажды я убежала. И отец вызвал полицию, чтобы меня найти. А я сидела за каменными домами Саккопасторе, скрючившись, на корточках, за валунами, за густыми кустами, и зубы сжала, чтобы не кричать, и повторяла себе: я не вернусь в этот гадкий дом, не вернусь никогда больше, не вернусь.

Но у полицейских были собаки с хорошим, острым нюхом, и меня отыскали, и схватили, и громадный как шкаф полицейский нес меня домой на руках, и он него пахло псиной. Я спросила, как называется штука у него на боку. Он важно пошевелил усами и сказал: «Двустольный пистолет-пулемет, да не про твою честь». И захохотал – басом, раскатисто, обидно, и у него изо рта пахло вином.

Меня принесли домой, и отец выхватил меня из рук у толстого полицейского. Я думала – он меня расцелует на радостях, а он бросил меня на диван и избил. Своей тростью. Крепко избил, до крови. Маринетты дома не было, она ушла на рынок за едой, и отец распоясался.

Я сначала кричала, а потом не могла кричать, только раскрывала рот. Я и отец. Отец и я. И больше никого.

Когда он занес трость, чтобы ударить меня еще раз, я закрыла глаза и прошептала ему:  
– Убей меня. Ну, убей.

И он услышал.

Выронил трость.

Я открыла глаза и увидела, как его глаза вылезают из орбит. Наверное, до него дошло, что он наделал.

Он намочил полотенце в холодной воде и вытирал с меня кровь, с моих щек и губ, с рук, ног и груди. Когда он схватил трость еще раз, я распухшими губами прошептала: нет! А он выставил колено вперед и сломал трость об колено. Я услышала треск и опять закрыла глаза. Все поплыло и уплыло далеко, во тьму.

А потом пришла Маринетта, и отец смущенно говорил ей в коридоре, я слышала: ты знаешь, девочка заболела, она вышла гулять во двор без спросу, и ее покусала собака, ты с ней поосторожней. Маринетта влетела в комнату, бросилась ко мне. Опустила сумки с провизией на пол. Из сумок торчали стрелы зеленого лука и пучки сельдерея. Маринетта ощупала меня, заставила показать язык, потрогала синяки у меня на лице.

– Святая мадонна, да ее кто-то сильно побил! Уж не вы ли, синьор?

Маринетта обернулась к отцу. Перед ее носом мотался отцов кулак.

– Кому скажешь – берегись.

И моя нянька вскочила, вытирая ладони о юбку, и приседала, и кланялась, и бормотала: да что вы, синьор Николетти, да никогда, да вот вам честное слово, да клянусь святой Варварой, святым Иосифом и всеми на свете святыми, никому, никогда.

А по улице, мимо нашего дома, мимо нашего балкона под полосатой маркизой, шли люди, они громогласно разговаривали, пьяно смеялись и горланили песни, и я слышала, они поют: Муссолини наш вождь, Муссолини солнце наше, Муссолини, веди нас к победе, веди!

И моя Маринетта не знала такой песни.

*[юноша гюнтер]*

На фарфоровой тарелке с золотым ободком лежала жареная курица.

Она лежала так изысканно и беззащитно – ножки враспопырку, кожица коричневая чуть подгорела, не сильно, а слегка, в самый раз, – что Гюнтер сглотнул слюну, взмахнул вилкой, как дирижерской палочкой, и понял: этот обед опять праздничный, как все и всегда в его доме. Правда, этот праздник часто пахивал театром, ну да ладно, это уже мелочи; главное, все торжественно, это симфония, это неизвестный Моцарт, это с ног сшибающий Вагнер.

Нож в руке, острый нож. Разрезать воздух. Разрезать мясо. Разрезать тишину.

– Гюнтер, ты опять ведешь себя за столом неприлично!

– Да, я знаю, я уже взрослый мальчик и все такое. Мамочка, прости, больше не буду!

Он с наслаждением принялся за еду, косясь на родителей: они ели чинно-важно, отец – слегка отставив мизинец, то и дело поджимая тонкие аристократические губы, стараясь не чавкать, беззвучно и прилично пережевывать пищу, мать – двигая руками над столом бесшумно и быстро, обе руки – подобие крыльев, летают и не присядут отдохнуть, эти белые птицы боятся охотников. Мать красивая, и Гюнтер ею гордится. Правда, часто она злится, и тогда ее красота меркнет, тускнеет, и ее лицо становится похожим на нечищеную керосиновую лампу.

– Готфрид, тебе еще положить салата?

– Спасибо, душа моя. Мне бы лучше еще супчику. И скажи Людвигу, чтобы принес сметану, сметаны на столе нет. Не морщь так губы, тебе не идет. Изольда!

Гюнтер старался есть медленно, не смести куриную ножку с цветной капустой в сухарях с тарелки за один миг. Рядом с ним, ухватившись за косточку, расправлялась с куском белого птичьего мяса его сестра Клара. Рядом с Кларой сидел его младший брат, конопатый Вилли. Он очень громко чавкал и чмокал. Как свинья. Рядом с Вилли сидел его другой брат, Генрих. Он был старше Гюнтера на год. Погодков частенько принимали за близнецов – так они были похожи.

Генрих презрительно глядел, как семейство ест. Семейство было, по его мнению, лживым и ханжеским, а делом Генриха сияли вдали, в небесной выси, свобода и правда. Недавно он вступил в новую партию. Ее возглавлял громогласный человек с прядью жирных волос, наискось лежащих на мучнисто-белом лбу, и с черной полосой кокетливых усов. Такие усы носили коммивояжеры или столичные прощелыги, золотая молодежь.

Когда Гюнтер спрашивал Генриха про эту партию, Генрих шурился, закидывал голову, как гусь, глотающий червяка, и цедил сквозь зубы: «Мы завоюем мир! Потому что мы связаны нерасторжимо! Мы – сила! Сила – это мораль людей, отличающихся от остальных, она же и наша мораль!»

– Мамочка, можно еще ложечку капусты? Прекрасно получилась!

– Лизхен сегодня постаралась.

– А ты вместе с ней разве не постаралась?

Мать поджала губы и стала похожа на отца. У них разные черты лица – у Изольды лицо дышало пухлостью, здоровьем, щеки – пышки, нос – крендель, подбородок – сдобная булочка, у Готфрида нос – острый кухонный тесак, щеки ввалились, подбородком можно резать хлеб, над высоким лбом волосы взлетят. Они оба олицетворяли мужскую жесткость и женскую мягкость: их можно было, рука об руку, пускать в кинематограф и снимать в еженедельном киножурнале: «Добропорядочная немецкая семья обедает всегда в одно и то же время».

Они завтракали, обедали и ужинали всегда в одно и то же время. Ни минутой раньше, ни минутой позже.

– Клерхен, ты как-то вяло ешь. Невкусно?

– Что ты, мамочка! Вкусно, даже очень!

Голос у Клерхен протяжный и противный. Рыжие взбитые кудри. Она ест медленно и капризная, всегда с вытребеньками: то суп пересолит у всех на глазах, не отводя глаз от воробышка за окном, то сосиску полоснет ножом – а из нее как брызнет жир, как заляпает бедной Клерхен парадное, к обеду надетое платье от фрау Химмель!

– Дура, – тихо, но внятно, так, чтобы братья слышали, говорит на ухо Кларе Вилли, – хватит ломаться. Так всю жизнь и проломаешься. Старая дева.

– Дурак, – столь же тихо и отчетливо отвечает Клара, – да еще к тому же глухой.

– Бетховен тоже был глухой. Однако...

Вилли родился со странными, как комки из теста, плохо слепленными Богом ушками. У всех людей уши как уши, а у Вилли – клецки. Наружный слуховой проход закрыт нелепыми складками кожи. Звуки туда, под кожное тесто, проникают с трудом. Когда Вилли слушает, как мать играет на рояле, он кладет на крышку руку, чтобы лучше слышать. Он щупает музыку пальцами.

– Передай, пожалуйста, соль, Изольда!

– Пожалуйста, Готфрид. Генрих, ты будешь кисель?

– Нет. Я буду сок!

– Хорошо. Я налью тебе сок. Дай сюда твой стакан.

Изольда берет графин с вишневым соком и наливает Генриху полный, с краями, стакан. Темно-красный сок смахивает на густую венозную кровь. Генрих берет стакан резко, неловко, и проливает сок на скатерть и себе на белую рубашку.

Трет красное пятно ладонью. Наливается кровью лицо. Кровь пульсирует в пальцах. Пальцы крочатся от обиды, досады, стыда. Надо же так при всех, на семейном обеде, опростоволоситься. Он просто идиот. Идиот!

– Мама, прости. Я идиот!

– Ах, Боже мой! Никогда так не говори. С кем не бывает.

Изольда подала Генриху салфетку. Клара выгнула губы подковкой, тыкала вилок в остывшую курицу.

– Доедай, дочка.

– Не хочу. Я объелась.

– Доедай, – грозно нависла над белоснежной скатертью тень носа Готфрида, – отец трудится в поте лица, чтобы раздобыть семье пропитание, а ты смеешь...

Клара уткнулась в тарелку, грызла курицу, давясь, шмыгая, хрюкая. Слезы капали. Рыжие космы топорщились. За окном, в чистой и светлой синеве высокого неба, плыли торжественные, пухлые белые облака. Они вытягивались вверх, как органые трубы. Безмолвное небо пело, но люди за обедом, сидящие внутри каменной коробки, не слышали его чистых и нежных мелодий.

И совсем уж невозможно было представить себе, что где-то рядом, в полях и лугах, а может, за городской стеной, дымят трубы, чернеют плоские крыши, искрится болью и страхом колючая проволока, плачут в бараках голодные люди, потому что их сегодня вечером расстреляют, а может, сначала удушат в газовой камере, похожей на баню, выложенную белым кафелем, а потом сожгут в широкой вместительной, как автобус, печи, и все вместе это называется емким и жестким словом «концлагерь».

Об этом не пишут в немецких газетах. Об этом не говорят по немецкому радио.

И в немецких киножурналах не показывают это.

Это передается из уст в уста. Об этом шепчут, плача. Над этим смеются открыто, белозубо: «Так им и надо, евреям проклятым!» То, что в лагерях гибнет несметное количество чистокровных немцев, предпочитают не обсуждать. Это недостойно обсуждения. Тем более – осуждения.

Человек по кличке «Фюрер» всегда прав.

Он прав прежде всего потому, что у него власть.

Прав тот, кто властвует. Владычит.

Прав властелин.

Конунг, вождь, глава рода. Адольф Гитлер – глава немецкого рода. Может, он возродит Германию. Хилую, несчастную. Почти погибшую. Полудохлую.

Это хорошо, что Генрих вступил в его новую партию. В партию главы государства.

– Генрих, ты что-то бледненький. Завтра пойду с тобой в больницу, проверим кровь! Может, у тебя анемия!

– Мама, оставь эти глупости. Я здоров как бык!

– Как овцебык, – хрюкает в тарелку Вилли и, ссутулившись, беззвучно хохочет. Тарелка Вилли пуста. Он жадно, громко хлюпая, пьет светло-розовый жидкий кисель из стакана. Стакан с золотым ободочком, как все тарелки, как супница и чайные чашки. Чай семейство будет пить вечером. Сегодня на третье кисель, вишневый сок и яблочный штрудель.

Клара облизывает пальцы. Она съела кусок штруделя. Мать бьет ее по рукам сложенной салфеткой.

– Клерхен! Это плохой тон! Ты не собака и не кошка, чтобы себя облизывать!

Клара вскакивает, брякнув стулом об пол.

– Спасибо, мама!

Книксен.

– Отца благодари!

– Спасибо, папа!

Книксен.

Клара убежала, вильнув задом, тряхнув клетчатой плиссированной юбкой. Белый воротничок платья мигнул в полумраке за дверью. Потом опять осторожно вошла, вздыхая. Вилли выскреб столовой ложкой из стакана остатки киселя. Генрих зло выплеснул в рот остатки сока. Красное кровавое пятно на его рубахе все расплзлось, увеличивалось.

«Будто в него выстрелили. Расстреляли», – рассеянно подумал Гюнтер. Медленно, смакуя, жевал сладкий, с корицей, штрудель.

Готфрид положил на скатерть вилку. На его тарелке мирно и скорбно лежали тщательно обсосанные куриные косточки. Ему досталась грудка.

Он клюнул острым носом пропитанный запахами вкусной еды воздух.

– Генрих, – сказал отец гнусаво. – Довольно тереть бедную рубаху. Лизхен отстирает. Знаешь, я знаю, что ты и Лизхен...

– Это вранье, – быстро сказал Генрих.

И засмеялся.

И вытер рот салфеткой.

На салфетке отпечатались жирные пятна. Гюнтер глядел на пятна. Салфетка, слишком белая, быстро пропиталась жиром с губ Генриха. Рядом с салфеткой, на столе, лежала газета. Гюнтер скользил глазами по заголовку: «АДОЛЬФ ГИТЛЕР ОБЕЩАЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАЛАДИТЬ РАБОТУ ЗАВОДОВ КРУПНА ТАК, ЧТО ОНИ СТАНУТ ЛУЧШИМИ В ЕВРОПЕ! ВСЕ БУДУТ ЗАВИДОВАТЬ ГЕРМАНИИ!»

Готфрид проследил за взглядом Гюнтера. Взял газету. Развернул, хрустя. Запахло типографской краской, терпкой свежестью бумаги. Гюнтер видел, как зрачки отца дергаются, вылавливают из вереницы букв нужные, единственные смыслы.

– Изольда, – Готфрид поднял лицо к жене, – оказывается, мы скоро выйдем на первое место по производству масла! Наше сливочное масло...

– Ура немецким коровам! – сказал Вилли и показал в жесткой улыбке зубы.

– Вилли, у тебя в зубах курица, – Клара бросила ему зубочистку, и Вилли ловко, как в цирке, поймал ее и засмеялся. Все веснушки на его лице разом запрыгали, задвигались.

– Куры, гуси, коровы, – размеренно, устрашающе произнес Генрих. – Разве дело в этом? – Он вынул из кармана брюк расческу и раз, другой провел ею по русым чистым волосам. Он, чистюля, принимал душ каждый день. – Страна – это бегун. Он должен стать чемпионом. Или не станет им никогда. Есть стадион. Это мир. И твои соперники жестокие. Они тебя не пощадят. Или ты их, или они тебя. Третьего не дано. Выстрел! Старт! И ты берешь с места в карьер. Бежишь! Вперед! Перебирай ножками! Быстрее! Вот так, так, еще! – Он вскинул над столом кулак. – И стадион орет! А ты бежишь! Скорей! Быстрее! Все быстрее и быстрее! Трибуны орут! Твои соперники пытаются тебя достать! А ты бежишь! Тебе все нипочем! Тебе надо победить! Только победить! И ничего больше! И во имя победы ты растопчешь того, кто будет валяться, как зазевавшаяся гусеница, под твоими ногами! Ты ему морду в кровавую лепешку превратишь! Пнешь! Прочь с дороги! Это я бегу! Я! Я, твоя страна! Великая страна! Аплодируй мне на трибунах, позорный, трусливый мир! Я, Германия, бегу! К победе! С нами Бог!

Он уже брызгал слюной. Как тот. Что сумасшедше, долго, надсадно орал то и дело, днем и ночью, из народного радиоприемника в кабинете Готфрида.

– Генрих! – Отец коршуном взмыл над столом. – Прекрати! Ты не в Берлинской опере!

– Папагено, – фыркнул Вилли. – Всем спасибо! Я пошел!

Вывалился из-за стола, как газета из почтового ящика. Косо, боком, упал сквозь теплый яблочный воздух к приоткрытой в свободу двери. Просочился в щель. Исчез.

Генрих захлебнулся слюной и умолк. Готфрид швырнул газету на пол. Изольда побледнела. Гюнтер переводил глаза с отца на мать, с матери на брата. Генрих поднял палец и указал им на Гюнтера.

– Вот ты! Да, ты! – Голос его сбивался на петушинный клекот. – Ты тоже вступишь в нашу партию! Ты будешь солдатом великой Германии! У тебя другого пути нет! Нет! Просто нет!

Гюнтер молчал. Потом наклонился, как переломленная в поясе кукла. Поднял с пола газету. Взмахнул ею и оглушительно хлопнул по скатерти.

Он убил черную жирную муху.

– О Боже мой! – воскликнула Изольда. – Зачем ты так?

– Мама, извини. Я муху убил.

Генрих хрипло засмеялся и треснул Гюнтера кулаком по плечу.

– Наш человек! – Продолжал смеяться, и Гюнтер заметил: у него начинают гнить вчера еще белые, крепкие зубы. – Убить – это по-нашему! Без пощады! Солдат великой Германии должен уметь убивать без пощады! Мы возродим воинов, берсерков. Мы отправим мертвых героев в Валгаллу! Муху убил? Кошку? Человека? Ты убил врага! Ты...

– Я устал это слушать, – Готфрид отвернулся от старшего сына. – Пойди отдохни после обеда, Генрих. Я думаю, ты просто перезанимался. В институте у вас слишком много домашних заданий. Выкинь временно все формулы из головы. Проветри мозги. Погуляй с девушкой.

– У меня нет девушки, папа.

Генрих с трудом переводил дух. Гюнтер стоял, судорожно сжимая в руке газету.

– У тебя есть Лизхен. Но если вы будете это все продолжать, я Лизхен рассчитаю. – Готфрид обернулся к Гюнтеру. – Дай мне газету. Ты и так ее измял вконец. Читать невозможно. Что сегодня со всеми вами стряслось? Вы как вина выпили.

– О да, молодого вина, – белки Генриха блеснули умалишенно, – из баварских пьяных виноградинок...

На весь дом раскатился дверной звонок.

– Это почтальон, – вскинулся отец.

Изольда стрельнула глазами в мужа. Румяные булочки ее щек враз побледнели.

– От кого ждешь письма?

– Ни от кого.

Жена видела, что муж врет.

И Гюнтер это видел.

А Генрих мелко дрожал, противно, жалко тряся. Он выкричал нечто важное, а потом испугался. Это как вдох и выдох: вдохнул аромат, а выдохнул перегар. Зачем он так тут, за обедом, перед всеми орал, как резаный? Он высказал то, что надо таить. Семья его не поймет. Лизхен? С ней можно лишь перепихиваться в ванной, закрыв задвижку изнутри. Фюрер – вот кто его надежда, его вера, его воля! Он вождь воистину. Он ведет не только его. Всю Германию он ведет за собой в бой. Тельман – просто нелепый телок в сравнении с ним. Кайзер Вильгельм, герой начала века, – козявка, жужелица, муравей. Энергия! Мощь! Фюрер знаток традиции. Традиция – вот его песня. «Она же и наша песня, и наша молитва. Обычай и смерть! Обряд и война! Древние знаки надо уметь читать. Мы разучились. Вождь заново нас читать учит. Открывает зренье ослепшим. За ним! Навсегда!»

Дрожь усиливалась. Готфрид, сморщившись от жалости, глядел на трясущиеся руки сына. Неслышно шепнул Изольде:

– Дай бром. Он здесь, в столовой, в шкафу. На верхней полке.

Изольда капала бром в мензурку, и руки ее тоже мелко, жадно тряслись. Губы ее шевелились. Она беззвучно считала капли: раз, два, три, четыре.

И Гюнтер считал вместе с ней: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

И отец глядел на них, и его губы тоже вздрагивали.

А Генрих смотрел на них и смеялся.

– Вы что, идиоты совсем? – крикнул он. – Я же не сумасшедший! Я нормальный! Это вы все идиоты! А я-то в порядке! Мама! Спасибо! Так все вкусно было! Чудеса! Давно такого обеда не бывало!

Отец побелел.

– Мы каждый день с матерью...

– Да, да, я слышал! Каждый день! Не покладая рук и все такое! Но сегодня! Сегодня особенно вкусно все! Спасибо! Огромное спасибо! Спасибо! Спасибо! Спа...

– Генрих, – голос отца дрожал и срывался, – Генрих, заткнись сейчас же...

– Мальчик мой, выпей! – Изольда протянула мензурку с бромом.

Старший сын обидно, страшно засмеялся. Его смех был похож на волчий вой.

Отсмеявшись, он дернул вбок аккуратно подстриженной головой, сам весь дернулся огромной живой молнией, ударил по уюту и чистоте всем долгим худым телом, шатнулся, вылетел из столовой. Отец проводил его взглядом.

– Совсем ребенок с ума спятил, – сказал невнятно. – Изольда, я не могу...

– И вовсе он не спятил, – Изольда вскинула голову. Она старалась держаться красиво и достойно. Такой ведь хороший, вкусный получился обед. Нельзя было позволить обстоятельствам взять верх над благопристойностью, над ее семейным счастьем. – Он хороший мальчик! Просто он переутомился. Это все пройдет! Гюнтер, что так смотришь? Поговорил бы с братом! Съездили бы куда-нибудь развеялись! В кинематограф! На стадион! На ипподром! Ты же так любишь лошадей!

– Я танки люблю, – угрюмо поглядел на мать Гюнтер.

Изольда растерянно поднесла к губам мензурку и выпила бром одним жадным, огромным, коровьим глотком.

*Опусти глаза. Потом подними. Глаза не должны это видеть, но они видят. Глаза слишком мало видели на земле. И вдруг они стали видеть слишком много. Так много, что разум перестал вмещать увиденное. Этот убитый мальчик, лежащий в пыли – твой ровесник. Гляди на него, пока не заломит в глазах.*

*И тогда зрачки превратятся в угли, а голова под костью черепа – в жарко горящую печь.*

*Сожги в ней все, что ты видел сегодня. Это нельзя помнить. Это нельзя забыть. Это война.*

*[иван макаров свадьба]*

Ивану сравнялось восемнадцать, и Галине тоже.

Свадьбу им устроили – все Иваньково позвали.

Отец, Иван Юрьевич, не пожалел ничего на свадебный пир: и петуха зарезал, и двух самых жирных, хоть и любимых курочек, и на чувашском рынке поросячьи ножки на студень купил, и у рыбаков – сурскую стерлядку, крупную, знатную, для тройной ухи; и сам ту тройную уху варил – сначала ершей, для сладости, потом сорогу, а потом уже стерлядь запускал. Ухой на всю округу пахло.

Варил Иван Юрьевич уху в огромном прокопченном котле. Такого котла ни у кого в Иванькове не было. Котел тот достался ему по наследству от прадеда. Прадед бурлаком на купеческих расшивах хаживал, до Царицына, до Астрахани. Из котла того – бурлаки уху хлебали. Рты хлебом утирали. Ложки, поевши, – подолами рубах, а кто залатанными портками.

Река, река! Иван Юрьевич любил реку. Сердце стеснялось, когда на серебряную воду глядел.

И сын его Иван любил.

И, если б не война клятая, пошел бы Ванька в речное училище учиться, на речника. Он уж так и сказал: «Батя, я в речники собрался». А тут немец. И повестка пришла.

Все они знали, и Ванька и невеста его Галина: вон она, повестка, на радиоприемнике лежит, поверх салфетки белой.

И плакал Иван Юрьевич, закрыв лицо жесткой, деревянной ладонью.

Один плакал. В кладовой. Среди лопат и серпов и черных чугунков.

А к людям выходил – улыбку к роже присобачивал.

Он улыбался даже тогда, когда в гражданскую его, с женой и малыми детьми, к стенке ставили. А так просто: к стенке избы. Вывели – и палить. И наперво попали в сына. В Фединьку. Он навсегда так и остался семилетним. Старший. Жена распласталась на земле, двух девчонок да малютку Ванятку телесами накрыла. Вопит – облака содрогаются! Дрогнули беляки. Ружья опустили. Плюнул главный кат, утерся. Орет: «Ну вас к ляду! Еще я баб с детьми не пускал в расход! К чертям! Что скалишься, мужик?! Счастье твое!» И повернулся, и пошел, и закурил, и Иван Юрьевич видел, как высоко поднимаются его плечи, как уши – погон касаются.

Шли гости и шли, все Иваново, почитай, собралось. Ванька в лучшую рубашечку нарядился. Галина – как городская, белое платье, и отделала, хитрюга, кисеей оконной; и фату из тюля пошила, а к ней – белые розочки бумажные наворотела. Все честь по чести. Да на городское фуфыристое платье – все равно чувашские, родные мониста нацепила. Золотые и серебряные кругляши, рыба чешуя! Поймал, поймал Ванюха золотую рыбку. Да ночь одну в руках подержит.

Одергивал Иван Юрьевич кургузый праздничный пиджак. Шли и шли гости, подарки волокли. Старуха Игнатьевна подарила отрез ситцевый – ситец черный, в мелкий цветочек, и юбки из него пойдут, и платья, и в пир и в мир! Дарница пеленки льняные приволокла. Для будущих деточек! Не вечна ведь война, а Ваньку, даст Бог, не убьют.

Вступил на крыльцо костяною ногой старик Живоглот, с хромкой в граблях-ручищах. Поет хромка, заливаается! Меха дышат тяжело и сладко – так баба под мужиком дышит! Старая Ванькина мать, Макарова женка, сидит под иконой в красном углу, узкие глаза шурит, а все к ней подходят и кланяются. Рядом с ней – табурет для Ивана Юрьевича, а еще – два табурета свежеструганных, для отца и матери невесты, да пустуют табуреты, никто на них не сидит: Галина круглая сирота. Сироту взял Ванька, без приданого. Зубами скрипнул: «Проживем, батя. Я – работать пойду! На баржи! А Галя согласна плавать со мной. Она поварихой на камбузе запросто сможет!»

Играй, Живоглот, растягивай гармошку, мни-терзай! Музыка веселой сердца рви! Вон соседский Спирька бежит, а что это у мальчика в руках? А это петух, на колу протух! Шутка ли, петуха тащит в подарок! Красный, огненный, перья горят, ладони спалют!

– На, Галька, держи петуха! Да во щах не вари! Это тебе на развод! Это куриный муженек! Чтoб он всех кур в Ивановке потоптал! Ха-а-а-а!

– Спиридон, охальник! Ах, спасибочки! Петя, петя... а он не клевачий?

– Глаз выклюет – кривая Галька будешь, ха-а-а-а!

– Типун тебе...

Галина петуха к груди прижимает. Петух изловчился и клюнул золотое зерно монист. Мониста зазвенели. Весело звени, пой, свадьба!

– Гости дорогие, студень на столе, и беленькая стынет!

– Помидорки, Иван Юрьич, уродились уж у тебя! Быстрый ты!

– Хозяйка в теплице растит...

Рюмки налиты всклень. Студень разрезан, по тарелкам разложен. Пирог из печи вынут – Анна Тимофеевна с капустой и яйцами спекла. Иван Юрьевич – чуваш, Анна Тимофеевна –

чувашка, а в паспорте пишутся – русские. И то правда: христиане. Церкви повсюду взрывают, а по всей России в деревнях родители тайно детей крестят.

Галина сидит, грудь сверкает монистами. Фата из тюля лезет на глаза. Глаза блестят, слез полны. Ванька прямее доски, рубаха по вороту алой нитью вышита. В сельсовете они уж расписались. К попу не пошли: современные. Но перед родителями на колени встали. По старинке. Благословите, батя и маманька, на жизнь долгую, и чтобы деток много родилось!

Детки. А беременеют – сразу? Или чуть погодя? Галина слюну сглатывает. Бледнеет. Она первой ночи смерть как боится. Она девочка еще. И они с Ванькой вечерами гуляли, на лавочках над Сурой сидели, да она ему не дала. Молодец девка. Выдержала.

А Иван сидел каменно, ледяную ножку рюмку в горячих пальцах сжимал, думал, губу закусив: зачем не дала, счастья бы все поболее было, чем одна ночь.

Бабы пели, голосили. Старик Живоглот хромку вертел, как девку на танцульках. Рябая Наташка, с перевязанной головой – ей в гражданскую беляк саблей чуть не полголовы снес, и умом она повредила тогда, да заросла кость, уродливый шрам под волосами вязаной лентой скрывала, – встала, нависла горой над столом, завизжала, будто резаное поросля:

– Горька-а-а-а-а! Горька-а-а-а-а! Ох, подсластить ба-а-а-а!

Вскочил Иван, будто струну порвали. Зазвенела посуда. Медленно встала Галина. Бледнее скатерти. Иван взял за подбородок Галькино лицо. К себе повернул. Глаза в глаза. Губы к губам.

– Ягодка, – прошептал.

Галина обняла, ощупала, исцеловала глазами Ванькино лицо. Красивый. Молоденький муж ее. Совсем мальчик.

И она, хоть ровня ему, почуяла себя вдруг – старой, жизнь прожившей. И вроде уж умирать надо.

«Какая маленькая жизнь», – прочитал Иван в Галининых глазах.

Губы сблизились. Целовались долго, а вокруг кричали. Вилками, рюмками звенели. Зычный голос над их головами считал:

– Десять! Одиннадцать! Двенадцать...

«Люблю тебя, милый ты мой», – говорили Ивану Галькины губы.

«И я тебя. Больше жизни», – отвечали Галине губы Ивана.

– Двадцать! Ох, сладко!

Оторвались друг от друга.

– Двадцать лет жить будете! Сосчитали уж вам!

– Да не слышали оне... оглохли...

– Дольше надо было чмокаться! Двадцать – мало будет! Надо – полтинник!

В спальне девчонки, подружки Галины, пуховую перину взбили, кровать хмелем забросали. Шторы задернули. В залу выбежали. Губы к Галининому уху прислоняли: ты, когда ноги раздвигать будешь, зубы сожми и так молись: «Богородица Дева, дай мне претерпеть бабью боль! Сперва больно, потом сладко!»

Вина почти не пили, водки не касались, и так все плыло, уплывало.

Живоглот устал мучить хромку. Гости глотки в песнях надорвали. Пироги Тимофеевнины сожрали. Всему бывает конец, и свадьбе тоже. Милы гости, черт вам рад! А ну выметайся из избы! Ночь на дворе!

Летняя ночь. Ночь. Крупные звезды. Простыни хмелем пахнут, а еще – духами «Красная Москва», девчонки побрызгали.

Раздеваться надо. Ночной свет льется в окно. Свет травы, свет от светлой коры осин и берез. Окно в сад открыто, и листья слив лезут прямо в избу. Слив, вишен изобильно завязалось. Варенье Галина одна варить будет. И огурцы – одна солить.

Одна.

Все с себя отчаянно сорвала. Стояла перед Ваней голая. Тело светилось.

– Ничего не боюсь! Ваня! Только...

Он крепко обнял ее. На руки взял – легкая она, подсолнуха лепесток.

– Меня не убьют, – пробормотал, ложась на нее, и она забилась под ним, закинув голову, раскинув белые ноги, и так сильно обняла за шею, что чуть не задушила.

Когда плоть соединилась, Галина распахнула глаза широко и изумленно выдохнула:

– Не больно...

А Иван, выжатый долгожданной судорогой, плакал малым ребенком, уткнувшись в подушку, щекой к Галининой щеке.

И, как ребенка, гладила Галина его по потной голове, утешала, шептала невнятное, единственное.

А утром вынесли гостям, что, запьянев, спать в избе у Макаровых свалились, простыню, кровью окрашенную. Крестилась Анна Тимофеевна, молитву читала. Блестела, в зеркале отражаясь, Живоглотова хромка с перламутровыми старыми, царскими пуговицами.

Надевал Иван перед трюмо чистую рубаху. Натягивал штаны. Мешок с провизией уж собран был, на сундуке ждал. На мешке сидел кот, облизывался. Галина глядела, как Иван собирается на войну.

Родители сына перекрестили. Иван сам перекрестился на икону. Донская Богоматерь складывала нежный ротик печально, сердечком. Младенец на Ее руках смотрел стариком, не хуже Живоглота. Он все знал про Себя.

– Ну, пошел я.

– Иди, сынок! С Богом!

Анна Тимофеевна так и сидела на табурете: на дорогу не могла выйти, колени ослабели. В окно следила: вот Ваня вышел за калитку, вот Галина ринулась вдогонку, закричала. Что кричала? О чем?

Пусть покричит. Поплачет. Ночь первая, а может, и последняя.

Глядела мать в окно сухими внимательными глазами, как вчера еще чужая девка обнимает, целует ее сына, осыпает поцелуями его щеки, плечи, губы, лоб. Как Иван наклоняется и целует эту незнакомую девчонку в глаза и рот. Как ветер рвет, развеивает волосы девки, они летят по ветру, путаются, блестят на солнце, вьются в веревки, в русые лески.

– Дети, – вымолвили сухие старые губы. – Детки... мои...

Глаза видели: Иван крупными, злыми шагами, оторвавшись от жены, пошагал по пыльной, по солнечной дороге, ступая на всю ступню, уходя, исчезая. Быстро шел, споро. Минута – и от Ивана лишь черная точка на дороге осталась.

Дверь заскрипела протяжно, будто завывла. Галина вошла в избу.

Встала на колени перед черной глыбой, старухой, к табурету намертво прикованной: коричневое вяленое, копченое лицо из-под черного шерстяного платка, рыбы-руки на груди скрещены, тяжелое венчалное золотое кольцо на узловатом диком пальце блестит.

– Мама...

И старуха посмотрела слепыми глазами на нищее медное, тоненькое позолоченное колечко, в сельмаге купленное, у Галины на пальце нежном, детском, молодом, безымянном.



*[интерлюдия]*

### **Так говорит Гитлер:**

Уважаемый господин Сталин,

Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда я окончательно пришел к выводу, что невозможно добиться прочного мира в Европе ни для нас, ни для будущих поколений без окончательного сокрушения Англии и уничтожения ее как государства...

При формировании войск вторжения вдали от глаз и авиации противника, а также в связи с недавними операциями на Балканах вдоль границы с Советским Союзом скопилось большое количество моих войск, около 80 дивизий, что, возможно, и породило циркулирующие ныне слухи о вероятном военном конфликте между нами.

Уверяю Вас честью главы государства, что это не так.

Со своей стороны, я также с пониманием отношусь к тому, что Вы не можете полностью игнорировать эти слухи и также сосредоточили на границе достаточное количество своих войск.

В подобной обстановке я совсем не исключаю возможность случайного возникновения вооруженного конфликта, который в условиях такой концентрации войск может принять очень крупные размеры, когда трудно или просто невозможно будет определить, что явилось его первопричиной. Не менее сложно будет этот конфликт и остановить.

Я опасюсь, что кто-нибудь из моих генералов сознательно пойдет на подобный конфликт, чтобы спасти Англию от ее судьбы и сорвать мои планы.

Речь идет всего об одном месяце. Примерно 15—20 июня я планирую начать массированную переброску войск на запад с Вашей границы.

При этом убедительнейшим образом прошу Вас не поддаваться ни на какие провокации, которые могут иметь место со стороны моих забывших долг генералов. И, само собой разумеется, постараться не давать им никакого повода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из моих генералов не удастся избежать, прошу Вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действий и немедленно сообщите о случившемся мне по известному Вам каналу связи.

Прошу извинить меня за тот способ, который я выбрал для скорейшей доставки этого письма Вам.

Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле.

*Искренне Ваши, Адольф Гитлер.*

*14 мая 1941 года*

*[елена померанская – ажыкмаа хертек]*

Дорогая тетя Ажыкмаа! Здравствуйте!

Огромное спасибо за рисунки Ники, я рассматривала их очень долго и еще буду смотреть, каждый день! Никочка у вас такая молодчина! Она и учится хорошо, успевает, а вот у меня тройки есть. Я не люблю физику, алгебру, геометрию и химию. У меня к ним никаких способностей. Мама ругается, говорит, из меня ничего толкового не получится.

Четырнадцать лет мне справили хорошо, мы были в это время в деревне, я пригласила соседских детей, мама напекла пирогов с вишней, с яблоками и с сомятиной, пили чай, ели пироги и смеялись. Мама сидела, смотрела на нас, как мы едим за обе щеки, а потом вдруг пригорюнилась и заплакала. Я спрашиваю ее: что ты плачешь? А она мне отвечает: «Вспомнила себя во время войны, и как мы есть хотели, и как для нас праздником был крепкий чай, настоящий сахар и кусок белого хлеба. Когда после войны все это на столе появилось, мы дрожали от счастья и плакали. А вы вот пироги едите! И корочку швыряете! А мы корочку каждую, кроху доедали, с ладони слизывали, над ней тряслись...» И ушла плакать в спальню. А мы с гостями сидели, такие растерянные. И меня Глафира Беседина спрашивает: Лена, нам можно дальше праздновать или уже уйти?

Тетя Ажыкмаа, простите, что все это написала, только маме не пишите про то, что я это вам рассказала.

У нас все хорошо. Мы из Иванькова переехали в Козьмодемьянск. Папа работает художником на кирпичном заводе. Рисует большие плакаты. А еще ездит по селам и деревням и фотографирует детей и взрослых, особенно в школах, на свадьбах и на похоронах. Зарабатывает деньги. Мама все время берет в больнице дежурства. Я уже большая, я тоже могу зарабатывать. На будущий год заканчиваю музыкальную школу и буду поступать в музыкальное училище. Поступлю и сразу возьму себе учеников, заниматься.

Буду жить в городе в общежитии. Я самостоятельная, и все умею.

У нас перегорел телевизор «Рекорд», и папа сам его починил. А мама сама починила старый утюг. Белье мы отдаем стирать в прачечную, за ним приезжает шофер, мы даем ему рубль и тюк с бельем, и он уезжает. Очень удобно.

Крепко целую вас, дорогая тетя Ажыкмаа, огромный привет дяде Никодиму и Нике. Всегда ваша Лена.

## Интермедия

### СИДЕЛКА

Ажыкмаа сидела у кровати больного. Раненого.

После смерти Ники она не нашла ничего лучшего, как придумать себе такое вот развлечение – стать нянечкой в Боткинской больнице. Работой она это не считала, хотя это была тяжелая работа: бессонные ночи, сестер на срочный укол звать, блевотину подтирать, судна и утки таскать.

Последние минуты жизни Ники прошли в больнице. Больница святым местом стала для Ажыкмаа: она не захотела отсюда уходить.

Лечить, а правда, вот доктора, они умные, они лечат и знают все про нас, немощных. У них глаза – рентген: посмотрят и все сразу видят, кто чем страдает.

Лечить, спасать, вот счастье.

А если тебя не спасут, как не спасли Нику? Что, врач тогда первый враг?

«Нет врагов и друзей, – сами по себе, вне разума, шептали губы, – нет правых и виноватых, ничего нет, никого нет».

Люди все ходили мимо нее – на одно лицо. Она не различала черты. Белые пятна плыли, мерцали, вспыхивали. Зрение падало, и танцевать она уже не могла. Голоса еще мотались перед ней алыми опасными флагами. Врачи отдавали военные приказы. И она слушалась. Все быстро и умело выполняла. Глаза плохо видели, пальцы, руки действовали вслепую.

Она приучилась видеть чем-то иным. Не зрачками, не зрительным нервом. Купила большие очки с толстыми линзами, в них стала похожа на сову. Никодим долго не прожил после ухода Ники: ушел вслед за ней. Ажыкмаа обмывала вместе с друзьями его мертвое тело, прикасалась к его старым шрамам, вздутым швам, и вздрагивала: ее било нездешним током. Люди смотрели на нее и думали: почему не плачет? Но вслух не спрашивали. Боялись.

В доме покойника всегда слишком тихо. И все боятся эту тишину потревожить, разрезать грубым, невпопад, словом.

Ажымаа молчала. А что говорить?

Она устроила русские поминки, с кислыми шами, с гуляшом и вареной картошкой, с кутьей, и из белых груд риса мертвыми пчелами торчал распаренный изюм, все как положено. И водка, как водится. Блестела свежим светлым серебром в граненых стаканах. Военные стаканы, почему-то подумалось тогда Ажыкмаа; она шепнула неслышно сама себе: «Советские».

Советская страна тоже умирала, уходила. Ее было жаль. И ничего поделать с временем было нельзя.

Время было сильнее человека.

И Ажыкмаа вслепую шла против времени, проламывая узкой балетной грудью его дикую метель. Зима, лето? Ей было все равно. Она перестала различать их. Она засветло приходила в больницу, чисто мыла руки под краном, под холодной, как из ледника, водой, переоблачалась в белый халат. Ей нравилось, что вот она вся белая, будто снегом укрытая.

Сама себе казалась могилой, щедро засыпанной снегом.

«Верно, – мерцали подо лбом тусклые мысли, – я тоже мертва, но притворяюсь, что жива. Театр. Я же столько лет проплясала на сцене. Я умею перевоплощаться, превращаться».

Больной на койке замычал. Он хотел перевернуться. На бок или на живот. Переворачиваться ему нельзя было – грудная клетка в гипсе, нога из-под одеяла торчит, тоже загипсованная, марлей обмотанная, подвешена: на вытяжении. Бредит? Спит? Глаза закрыты. Мычит. Не проснулся. Ему снится сон. Ему неудобно. Врачи говорят вполголоса, стоя у его койки:

«Как бы не схлопотал пневмонию». Лежит неподвижно, легкие слипаются, кровь не гуляет в них.

Как тебя перевернуть-то, милый? Никак.

Ажыкмаа знала: он ниоткуда не упал, и бежал и не споткнулся – его ранили, а потом долго били. Кто? Где? Когда? Не на войне же: сейчас мир, а скоро наступит мир во всем мире. И люди перестанут воевать. Так сказал самый верхний человек. А они там, наверху, все умные. Они – знают.

– Что тебе, дружочек? Что тебе подать?

Повела глазами вбок: на тумбочке стояла кружка, в ней морс; рядом с кружкой лежало в миске очищенное вареное яйцо. Ночь-полночь, какие яйца. Бредит он. Укрой его потеплее, из окон дует, и правда сквозняк.

Ажыкмаа наклонилась над раненым с переломом бедра и закрытым переломом голени. Провела ладонью по его лбу. Лоб мокрый. Ладонь тоже стала мокрой, будто Ажыкмаа окунула ее в море. Она взяла со спинки койки полотенце и стала обтирать чужое, родное лицо. Не видя лба и щек; зная только, что вот так – хорошо. Хорошо она делает. И ему, и себе.

– Полегче тебе? Ну и спи. Морс не дам, не отхлебнешь ведь.

И тут же взяла кружку и поднесла к его губам.

Больной опять замычал. Пригубил из кружки. Потом притих. Засопел. Ажыкмаа села на табурет рядом с койкой и аккуратно положила мокрое, пропитанное потом полотенце себе на колени. Так сидела, чуть покачивалась: внутри нее звучала тихая музыка, и она танцевала на залитой белым ясным огнем сцене. Под пуантами гнулись и дрожали гладкие доски. Она всегда боялась батмана. Боялась прыгнуть. А тут такое счастье, она ничего не боится.

Такая ночь.

По коридору простучали каблуки дежурной сестры. Деревянный резкий стук стих вдалеке. Ажыкмаа подумалось: вот так, с таким же звуком, забивают гвозди в гроб, – она уже знала этот звук, но сегодня она и его не боялась. Вокруг нее в больнице лежали, спали, шевелились, стояли, стонали, плакали, бормотали, сидели, шли, говорили, мечтали, злились, радовались люди, и ей было не страшно. Она все время брала ночные дежурства, чтобы не оставаться дома. Дом был войной. Полеми сраженья. Дома она, отчаявшись бороться с собой и с темной, ложилась животом на пол, кусала кулаки, билась лбом о половицы и, нарыдаввшись, так, на холодном полу, засыпала.

Она придвинула табурет к стене, чтобы к стенке привалиться и чуть подремать. Да, вот так, удобно. Больной со страшными переломами спал, иногда стонал во сне, она смотрела на его лицо, обмотанное бинтами, на синие гематомы и вспухшие губы и надбровные дуги.

«Война, для каждого случается своя война. А может, она идет всегда?»

Спросила так себя – и ужаснулась.

Отогнала мысль, как больничную муху. Стена холодила спину, холод ящерицей пробирался сквозь халат и старый свитер. Свитер носила Ника. Ажыкмаа после двух смертей отощала и сейчас была тоньше, чем ее тоненькая дочь; если бы не ее высокий рост, громадный для балерины, ее на улицах принимали бы за недокормленного ребенка.

Ребенок. А что, если взять ребенка на воспитание?

Ужаснулась и этой мысли.

А потом вдруг обрадовалась.

Чужой, чужая. Чужое. А если все родное? Почему такой родной ей этот человек, мычащий здесь перед ней на чисто застеленной койке? Что она нашла в нем? Во всех этих людях, за которыми ходит, о которых странно и полубессмысленно заботится здесь? «Это они меня спасают, они, а не я их. Все поменялось. Все сместилось».

Голова Ажыкмаа отяжелела и упала набок, подбородок уперся в худую ключицу, и она нежно и странно замерла – ночная белая надгробная скульптура, уснувшая, после винных

огненных танцев, безумная менада. Смерть и сон странно похожи, издавна; и что слаще, что лучше? Мы испытаем смерть лишь однажды, а в сон мы входим много раз. Жизнь человека – сколько в ней дней, ночей? Так просто: помножь дни в году на цифру своих прожитых лет. И ты все сразу узнаешь.

Ажыкмаа, уже падая в туманы легкого, ушки на макушке, сна, успела подумать: жаль, как мало, – и тут подвешенная нога больного, в гипсе и снежных повязках, шевельнулась, бинты размотались враз, в лицо хлестнула метель, да, они оба умерли зимой, и дочь и муж, и сейчас на дворе лед, ночь и пурга. Легкий звон раздался в висках, лоб обсыпало мелкой злой снежной крупкой, табурет оторвал все четыре ноги от пола и завис, и поплыл. Ажыкмаа крепче уцепилась за сиденье. Глаз не открывала: страшно.

«Не бойся, никогда ничего не бойся. Война ведь еще суждена. Разве ты не знаешь? Война, такая простая вещь. Как хлеб, как воздух. Как вата и бинты. Пропитанная кровью марля. Ребя-тишки нашли на берегу, в норе, где жил барсук, истлевшие военные шинели и хотели сжечь, а потом один пацан крикнул пронзительно: их же надо похоронить! Это же не шинели, а люди!»

Стены Боткинской больницы раздались и расступились, и Ажыкмаа вылетела вон, и ни табурета не было, ни тела, только сама она странно, длинно вилась в воздухе, как веревка, и никто не мог, не смел обрезать ее ржавыми ножницами, рассечь ножом или штыком. Под ней с чудовищной скоростью неслась земля. Земля держала в горстях хрустали замерзших озер. Перевивала голубые мафории ледяных, железных рек. Громоздила увалы, яры, покатые беременные животы холмов, и внизу возник сломанный хребет – длинные искалеченные горы, и никто не заковывал каменный позвоночник в жестокий, снежный гипсовый корсет. Врачей не было. Земля была предоставлена сама себе. Болела, царапалась к жизни, карабкалась, умира-рала. И снова оживала. Ее расстреливали в упор, дырявили из автоматов – а она снова под-нималась. Над ней смеялись, глумились вовсю, пальцами показывали: глядите! голая! дрянь! и милостыньку просит! И веревками ее вязали, веревками дымов, и били дубинками горячих труб. И били, долго, неутешно били в живот, в грудь, в подвздошь, и она, нищая, брюхатая, рожала, людям на смех и ужас, недоношенного уродца. И кто-то должен был того ребенка взять на руки, обрезать и завязать пуповину, кормить и растить, на ноги поднимать; вон, мать-то мертвая во рву валяется!

И всегда стоял рядом кто-то, а может, стояла, кто протягивал руки к убитой земле и к корявому, страшному ребенку ее, и хрипел: дайте мне, я выращу, воспитаю.

И рос новый народ, безумный ребенок, и изо всех сил пытался стать умным, мертвой матери достойным; да не получалось.

И вырастал, повторяя чертами род, убитую мать и погибшего на старой войне отца, дедов и бабок, да ухватки были другие, да говор – другой! И, главное, сердце, сердце билось под арматурой ребер – другое. Ничего, никого нельзя повторить.

Земля свирепо и бешено летела под ногами, под животом Ажыкмаа, в таком батмане она парила в первый раз, глаза не успевали схватить и запомнить все, что билось внизу – вон они, россыпи городов и черные мухи забытых сел, ползущие по смертельной белизне полей, отроги и лощины, речные обрывы, баржи-самоходки и плывущие по бесконечным серебряным рыбам рельсов грохочущие коробочки поездов, провода, сверкающие колким праздничным инеем, горы исковерканного железа на перегонах – вот авария, и еще одна, и еще, в ком одного дикого теста смешались кровавая плоть и железо, – рыжие сухие стволы сгоревшей по лету тайги, и вот перевалила Иртыш, вот прочертила могучую Обь, вот пересекла яростный Енисей, глаз Байкала сине, страшно, водяно мелькнул, опушенный мощными ресницами заснеженного кедрача, и Ажыкмаа скосила глаза: вот, вот она, ее родина! Ее горы!

Не успела она возрадоваться родине, как мощный нездешний воздух легко, насмеха-ясь над ней, беспомощной, перекатил ее, она перевернулась с боку на бок, такого сильного партнера у нее еще не было никогда, она удивилась, как просто можно станцевать жизнь, –

и она полетела умалишенно и бесповоротно, неостановимо, вниз головой, туда, вниз, все ближе к земле, все ближе к настоящему, неподдельному, не снимаемому, а подлинному, не спящему, а пробужденному, – невоскресимо, погибельно, слишком быстро, слишком мгновенно.

...ощупать себя. Белый халат. «Да, это я. Халат не сняла. Значит, больница».

Но мало то, что гудело и лязгало вокруг, походило на больницу.

Хотя внутри дрожащей и пылающей тьмы здесь, мимо нее, двигались люди в белых халатах и даже в белых масках; и все это, судя по всему, были врачи.

Она слышала их голоса, как сквозь воду.

И что-то трещало рядом; будто дрова в печке.

– Истолька! Истолька! Истолька!

– Черт, опять заснула.

– Истолька! Пайка лицу! Кору дуба будешь жрать! Где ты! Ребят привезли! Мясо с костей сползает! Шить надо, а ты... где ты, черт тебя!

– Ну что ты так, Осип, ну притомилась баба, свалилась где-нибудь тут... за вещмешками... и спит на ящиках. А ты ее костеришь.

– Я не костерю! Я просто убью! Обоих! Ната! Ната!

Ажыкмаа широко раскрыла глаза, и они вобрали, втянули сутулую, в выпачканном кровью халате фигуру, потом другую, рядом, тоже в халате, да не в белом, а в мышино-сером, тоже обляпанном кровью, и в плечах пошире, статью помощнее, и оба мужика – в резиновых перчатках по локоть. И лица у них бледные, потные, дикие.

Стоят, как мясники. Только топоров в кулаках нет.

Да это же хирурги, догадалась Ажыкмаа, хирурги!

«Но не те, что мою дочку резали».

Сутулый, в круглых очках, сделал крупный рассерженный шаг к Ажыкмаа и встал слишком близко к ней. Напротив ее лица поднимались и опускались, под окровавленным халатом, его ребра. Так тяжело, умалишенно он дышал.

– Ната! Вот она где! Одну – нашел! Натка! Быстро к столу! Уснула, ишь ты! Бой идет, а она, черт, уснула!

Ажыкмаа поднялась с табурета, потрясенно запроля волосы под белую сестринскую шапочку.

– У меня вся землянка госпитальная, ко всем чертям, под завязку ранеными забита!

– Но я не...

– Черт! Оправдываться будешь потом! К столу! Ассистируй! Я не шестирукий Шива!

Второй хирург, широкоплечий, хохотнул.

И все трое внезапно, резко присели, и затылки ладонями закрыли: ухнуло рядом. Близко!

Внутри хирургической землянки все сотряслось, потом звон в ушах утих, и жажнуло уже поодаль.

– За рекой, – сказал тот, что потолще. – Оська, валяй оперируй. Натку нашли. Теперь Истольку отыщем. Истолька! Истолька-а-а-а!

Ажыкмаа уже стояла, выпрямив жесткую спину, у операционного стола.

Да и не стол никакой это был. Поставленные друг да друга ящики; и на них сверху положены широкие доски; и на досках лежит человек. Не в военной форме. А она думала – солдат. Простой мужик. В гражданском, штатском пиджаке. И это ее, ее руки стаскивают с него пиджак, стягивают рубаху, обнажают простреленную грудь, умело готовят операционное поле к танцу скальпеля.

Вот он, со скальпелем в задранных высоко, будто молится, руках. В маске. Круглые птичьих очки. Из-под маски ругается. Взрывы. Чей-то крик вверх, над землянкой. Человека убили. Они здесь человека оперируют.

– Миша, они тут нам навезли черт знает сколько народу! Ну мы же не медсанбат!  
Поправил очки выгибом запястья. Ажыкмаа протерла и залила спиртом адскую, глубо-  
кую, как пропасть в горах, колотую рану.

– Это его штыком?

– Черт знает чем. Ната, шевелись быстрее! Зажимы!

Ажыкмаа железной негнушейся рукой подала тому, кого звали Осип, два зажима. Он  
наложил их на сосуды. Она глядела, как это происходит, глядела и не видела. Все видела ее  
душа.

«Душа, эй, где ты? Сказки все про тебя. Это я, меня здесь зовут Ната, и я все вижу».

Она стояла рядом с хирургом во все время операции; Осип то ругался, то орал, то ласково  
бормотал: «Лигатурку... лигатурку, вот так-то!» – то один раз чуть не вlepил Ажыкмаа поще-  
чину, за то, что она сразу не подала ему иглу и кетгут. Неожиданно все кончилось, и невидимые  
руки подняли раненого со стола и унесли; она уж думала, все, можно отдохнуть, как на столе  
лежал новый раненый, и это был ребенок.

– Великий Тенгри, – прошептала Ажыкмаа: так всегда шептала ее бабушка.

Второй хирург отошел к рукомойнику. На его халате появились новые красные пятна.

– Не зевай! – крикнул хирург Осип. – Что спишь! Выспимся на том свете!

Она видела – он слишком бледен.

– Вам надо выпить, – твердо сказала Ажыкмаа. – Спирту. Хоть немножко. И вам станет  
легче.

– Спирту! – заорал Осип. Его круглые очки блеснули жутко. – Ты подумай, Михал Пет-  
рович! Она предлагает мне хлебнуть! И как я тогда буду оперировать?!

– Еще лучше, – железным голосом сказала Ажыкмаа.

– Ну ты, чертова калмычка, хрен с тобой. Наливай!

Ребенок лежал на досках, кричал и плакал. Ажыкмаа постаралась на время стать глухой.  
Она деревянной рукой налила хирургу Осипу в мензурку спирт и протянула ему на ладони,  
так в Туве дорогому гостю протягивают чашку с горячим зеленым чаем, где плавают сливки,  
жир, кусочки черемши.

Хирург выпил и утер губы рукавом.

– Ну и все тогда, – пробормотал, – теперь резану не туда. Давай! Обработывай поле!  
Быстро! Очень много крови потерял!

Резали; шили; прижигали; зажимали; подтирали; и опять резали и шили, шили. Адская  
кройка, великое шитье. Кто-то будет жить. Кто-то не выживет. Лотерея. Война – это тоже парк  
с аттракционами, и крутится чертово колесо, и попугай вытягивает билеты из горы мусора.  
Кому – счастливый. Кому – смерть.

Глаза лежащего перед Ажыкмаа на хирургическом столе ребенка закатились под веки, он  
смешно, куриным клювиком, открыл рот; больше не кричал, не стонал. Это молчание испугало  
ее. Ребенок еще дышал.

– Умирает!

– Что ты так орешь, Ната. Успокойся. Просто давление падает. Сейчас корdiamинчик  
впрысну, кофеинчик – все будет прекрасно, не плачь. Мирово!

А разве она плакала?

Мокрые, стыдные щеки.

Щеки коснулась рука. Чужая. Резиновая. Осип не снял кровавую перчатку.

Отнял руку. На щеке алые полосы. Щека в крови.

Детская кровь. Детская.

– Ната, не падай! Мишка, держи ее!

Круглые очки горели, блестели. Слезались. Плавилась.

Солдаты. Наши солдаты. Мирные жители. Раненые дети. Взяли город. Много людей перебили. И мы стреляли, и они. И мы бомбили, и они. Люди, что они такое? Мясо, фарш войны, а Тенгри ест этот кровавый, красный пирог и хохочет. Показывает белые, синие зубы. А город-то взяли. Взяли все равно. Город, он оживет потом, после войны, придут люди, выстроят новые дома, заселят их, переженятся, родят новых детей. Все новое! Жизнь новая! Туфельки новые, лаковые, с фабрики «Скороход»!

Дети умирают. Им страшно умирать. Они прожили на свете так мало. Слишком мало! Жизни всегда слишком мало, хоть тысячу лет живи! И старик умирает, а все жизни у Господа просит! А где ее найти, когда вся выпита? Но война, у нее острые зубы. Перемалывает и плоть, и кости.

Но душу ей не сгрызть. Душу!

Что такое душа? Сказки, сказки для деток на ночь. Нет души. Есть кровь, и, если она из тебя выльется вся, ты умрешь.

Лица бледнели и гасли и опять вспыхивали. Она слышала плохо. Уже очень плохо. И ничего не видела.

Есть душа. Ее тело – душа. Ее кости – душа. Ее танцевальные связки и сухожилия, растянутые до ужаса, до боли, – душа. Все падает, рушится. Меркнет. Исчезает – неумолимо, непоравимо. Истончается. Тает. Улетает.

И она летит. Так просто. Они еще кричат над ней. Она ребенок. Она только родилась, и перерезают пуповину, и закапывают в глаза альбуцид, все еще кричат, вопят: Ната! Ната! Ната! Очнись! И бьют по щекам. И сквозь зубы вливают спирт. Он безвкусный, но очень горячий. Жаркий. Он сжигает ей глотку навек.

Там, в землянке, и еще под открытым небом, в траншее, там лежит слишком много детей. Одни дети. Взрослых мало, а детей много. Лежат штабелями. Мерзлыми дровами. Плоскими досками. Их так много, что никакой Осип и никакой Мишка, и целый полк других хирургов не сможет, не успеет их прооперировать. Они все умрут. Умрут.

Воздух сгустился и поплыл между ее лицом и хохочущим ликом Тенгри, и глаза мертвого ребенка видели сквозь закрытые чужой красной резиновой рукой веки.

...все-таки влили ей в рот спирт, и обожгли язык и глотку, и она повернула голову и очнулась.

Очнулась на кушетке. Открыла глаза. Огромные окна, без занавесей, открывали голый разрушенный город – изъеденные бомбежками камни, кружевные, после артобстрелов, стены. В их окнах еще торчали стекла. А множество домов глядело пустыми глазницами. Глаза выбили.

Люди выбивали глаза людям и домам.

Люди расстреливали и взрывали людей и дома.

Дом – тоже человек; расстрелять его так просто.

Все так просто. Так...

– Фройляйн Инге, вы пришли в себя? Превосходно! Как вы сейчас?

Ажыкмаа изумленно спустила ноги с кушетки.

Ноги обтянуты фильдеперсовыми чулками.

Ноги в лаковых туфлях на каблуках. Лак потерялся, потрескался на сгибах. Война.

– Я? – Ей пришлось заново вслушиваться в свой охрипший голос. – Спасибо, герр Штумпфеггер, мне уже лучше.

Подумала быстро и сказала бодро:

– Мне уже совсем хорошо.

– Ну вот и славно.

Врач в белом халате, в белой шапочке, она тоже в белом халате, только ткань без единого пятна крови. *Все lege artis. Comme il faut.* Дверь открыта настежь. Окно распахнуто. По комнате гуляет весенний ветер. Комната – ординаторская госпиталя. Они с доктором говорят на незнакомом языке, но она все понимает, и он тоже. Она догадывается: язык – немецкий, и она немка, и доктор немец. И это Берлин, а может, Кобленц.

А может, Дрезден. А может, Потсдам. А может, Росток. А может, Эссен. А может, Гамбург.

Руины. Развалины. Кружевные, на просвет, серые стены.

Война рядится в серые кружева. Модница.

Ажыкмаа проглотила слюну, загнала внутрь тошноту. На столе перед доктором Штумпфеггером, на стекле, лежала отрезанная ручка маленького ребенка. Кисть. Очень аккуратно отрезанная, и кровь аккуратно остановлена зажимами. Уже не кровит. Несколько капель на стекле, и все.

– Что...

Доктор опередил ее вопрос. Перехватил глазами ее глаза и насильно поднял их от детской отрезанной, будто лягушачьей лапки.

– Не волнуйтесь. Материал для научных изысканий. Младенец умер прямо на операционном столе. Фюрер будет доволен, если мы ему представим...

Доктор говорил старательно, четко и обильно, но она не слушала. Не слышала.

Встала, чуть пошатнулась на каблуках.

– Я готова.

– Прекрасно. Прошу!

Герр Штумпфеггер вежливо пропустил ее вперед себя, и она первой вышла в открытую дверь.

Это была работа. Пот тек по спине, как всегда, когда она работала в операционной. Она едва успевала поворачиваться. Кроме Штумпфеггера, в огромной операционной, устроенной в холле госпиталя, работали еще четыре опытных хирурга. Завывала сирена воздушной тревоги. Они никуда не уходили, продолжали работать. Резали, зашивали, зажимали, опять разрезали и снова шили. Каждодневный труд, ему их учили долго и старательно; и они старательно и долго учились, а теперь вот пришла война, и русские наступают, русские уже рядом, и у них сегодня, после двух налетов русской авиации, так много раненых, так много орущих, требующих жить детей и испускающих дух стариков. Старики устали жить. Устали от войны. Они проклинают Фюрера, что он все это с ними сотворил. Они проклинают себя, что родились в это время: чуть бы раньше или чуть позже, и войны бы не застали. Чушь. Война идет всегда. И везде. Ее нельзя миновать. От нее невозможно убежать.

От нее можно убежать только в смерть: там спокойно.

Но где гарантия, что ты не родишься завтра? И не увидишь самую страшную войну на свете?

Раненые. Старики. Девушки. Дети. Простые люди. Бродяги. Богачи. Всех уравнил страх смерти; и эти раны, и эта фонтаном хлещущая из артерий кровь. Иглу! Кетгут! Зажим! Все как всегда. Все как обычно. Госпиталь. На каталках санитары то и дело ввозят в гигантскую операционную раненых. Сколько их там? Вся земля.

И ввезли на каталке, и сгрузили на стол, как бревно, человека, мужчину; и Ажыкмаа всматривалась, так впивалась глазами в его лицо, что сама себя позабыла.

И это не она кричала, а другая, через горы времени:

– Никодим!

## Глава третья. Живот нежнее ночи

[дневник ники]

**2 октября 1942 года**

Сейчас два часа ночи. Я совершенно не хочу спать. Всю трясет. Мы с Татой Измайловой решили подежурить в парадном. Я сижу на корточках у стены. Взяла с собой из ящичка письменного стола дневник. Чернильница-непроливайка стоит на полу, у моих ног. Ручку неудобно окунать, но в перышке, если хорошо зацепить, чернил надолго хватает. Иногда на все предложение.

Тишина. Мы с Татой смотрим друг на друга, потом слушаем тишину, и мне кажется – у нас уши шевелятся, как у зверей.

Сконца августа налеты – то и дело. Фашисты будто задались целью разбомбить город. После бомбежек там и сям горят дома. Мы слышим на улицах стоны и крики раненых. Об убитых я стараюсь не думать. Крепко зажмурюсь, крепко-крепко – и мысли куда-то проваливаются. Немцы рядом. Они, наверное, думаю, что вот-вот возьмут нас без боя. Они обстреливают город из дальнобойных орудий. Их самолеты бомбят железнодорожные вокзалы, речной вокзал, пристани и гавань.

Мы голодаем. Продуктов почти нет. Но мы бодримся.

Мама ушла на фронт. Зачем она это сделала? Зачем бросила нас?

Я так плакала, когда она уезжала. И она ужасно плакала, у нее так страшно вспухли губы, как будто ее кто-то долго-долго бил по губам, по лицу.

От бабушки и дедушки давно нет почты. Мне сказала старая Марихен из первого подъезда, что в Гатчине фашисты. А я так крикнула ей: «Марихен! Не верю тебе!» А она сморщилась вся, заплакала и прохрипела: «Если они сюда войдут, они меня первую убьют, я ведь немка, а советская немка – это предатель Великой Германии».

Нам всем надо быть очень сильными. Очень-очень. Но так трудно быть сильным. Особенно девочке. Я стараюсь. Но у меня не всегда получается. Иногда я отворачиваюсь лицом к стене, чтобы меня не видел Гришка, кусаю губы и реву. Позорно, как корова. Ника, рева-корова. И я шепчу себе: все, брось, кончай, прекрати сейчас же, и тру мокрое лицо кулаками, а потом бью себя кулаками по лицу. И думаю: а если немцы вот сейчас войдут в подъезд, увидят меня и станут пытаться! Как я заплачу тогда?

**13 октября 1942**

Полночь. Сегодня я у Таты. Все в доме уже спят. Я сделала все задания – и по математике, и по физике. Очень тихо. Я с собой взяла в портфельчике дневник. Вот вынула тетрадку, напишу в нее немного. Меня трясет, уж не заболела ли я? Хорошо думаешь и пишешь, когда тишина.

Ленинград привык к воздушным тревогам. Мы говорим: «Ну вот, опять бомбежка», – будто бы: «Ну вот, опять похолодало». Я привыкла к артобстрелам. А первое время боялась ужасно. Зуб на зуб не попадал.

Часто думаю о Гитлере. Какой он. Я видела его портреты. Очень противный. Особенно эти гадкие усики. Наш товарищ Сталин такой хороший. Гордый и сильный. Он настоящий герой. А Гитлер подлец.

Нам выдают сейчас очень мало продуктов. Все знают, почему. Немцы перекрыли дороги к Ленинграду. Но наши все равно прорываются. Как важно сейчас не упасть духом! Тата все

время плачет. Она однажды обняла меня рукой за шею и прошептала мне на ухо: «Ника, будь готова к тому, что все скоро кончится». Я спросила: «Как это кончится? И почему все?» А Тата так сморщилась жалобно и шепчет мне одними губами, я еле услышала: «Ну, все. Мы кончимся. И Ленинграда не будет». Я зажала ей рот рукой. И по моим пальцам текли Татины горячие слезы.

Я не знала, что ей ответить. Я хотела сказать: «Татка, да успокойся ты! Где же твое мужество?! Ты же комсомолка! Мы должны вынести все, как бы нам ни было трудно!» Но слова застряли у меня во рту. Я не смогла ей так сказать. Потому что меня самое заколотила дрожь, и я представила, как нас всех сначала мучают, потом расстреливают немцы в черных круглых касках.

И мы обе плакали с Татой, обхватив друг друга руками.

А по радио говорили: «На подступах к Ленинграду войска врага несут большие потери!»

Тата затрясла головой и опять беззвучно прошептала: «Все вранье».

А я улыбнулась и сказала ей: не смей! Это чистая правда! Наши солдаты нас защитят! И чтобы я больше никогда от тебя не слышала!

И Тата пошла на кухню и приготовила нам чай из довоенного зверобоя, с сахарином.

## 24 октября 1942

Нам сказали в институте: занятия отменяются на две недели. Потому что почти все студенты сейчас заняты на трудовом фронте. А мы первокурсники. Мы еще маленькие. Я числюсь в санитарном отряде.

Только я заметила за собой: я перестаю думать. Не могу ни задачи решать, не могу вникать в смысл, когда читаю. В институте у нас холод страшный, все сидят, ежатся, поджимают под себя ноги и греют руки дыханием. Ни одна печь не топится. Все время охота есть, а еды нет. Она, конечно, есть пока, но ее очень мало. Хлеб выдают двести граммов в день. На десять дней еще дают сахара двести шестьдесят граммов, но вместо сахара уже отсыплют сахарин. А еще положено двести пятьдесят граммов мяса, сто пятьдесят граммов сливочного масла и триста граммов любой крупы. Мне почему-то все время доставалась перловка. Тата смешно называет ее: «шрапнель». А мясо уже перестали давать.

У нас на курсе Веняка Немиллов даже частушку по этому поводу сочинили:

Нету мяса ни куска —  
Станешь тощим как доска!

Как скелеты в бой пойдут —  
Станет Гитлеру капут!

Все ее распевали сначала, а потом староста Вихров петь ее нам запретил: как прикрикнет на нас, обозвал подрывниками и предателями Родины, сказал, за такие частушки Сталин может и в тюрьму посадить. Сейчас надо боевой дух в солдатах поднимать, а не про скелеты петь!

А вечерами и ночами я по-прежнему дежурю на чердаке. Завыла сирена воздушной тревоги, и все жители дома побежали в бомбоубежище, а я одна осталась. Хоть я и привыкла к налетам, а все равно поджилки трясутся. Стою, слушаю гул самолетов. Вижу в чердачное окно: на тротуаре разорвалась фугаска. Я зажмурилась. И вдруг прямо у моих ног, в проеме двери, падает зажигательная бомба! Сердце во мне забилося крепко-крепко. Я думала, ребра пробьет. Мысли проносились быстрые, бешеные. Брать щипцами? В бочку с водой тащить? Засыпать песком?

*Мешки с песком – вот они, в углу! Прыгаю как кошка на мышшь! Хватаю мешок! И почти полмешка на бомбу высыпая!*

*И все сыплю песок, сыплю, хотя понимаю: потушила уже, потушила...*

*Глаза скосила – вижу, лопата в углу. Можно было лопатой песок подцепить.*

*Вижу в окно: дом напротив, и чердак насквозь просвечен, просто полыхает! И люди бегают. Знакомые лица. Это наши ребята, со второго курса. А пламя – это зажигательные бомбы вспыхнули и разгорелись! У них что, ни воды, ни песка нет?!*

*Хватаю в одну руку ведро с водой, в другую – мешок с песком, и бегу в соседний дом, и кричу: «Ребята, вот вам песок, вот вода, тушите быстро, иначе пожар, и всем конец!»*

*Девушка передо мной. Губы дрожат. Глаза огромные, светлые. Говорит мне: «Спасибо, товарищ. Как вы вовремя, товарищ!»*

*А я на наручные часики гляжу: первый час ночи.*

*Часики мне тетя Фая подарила. В тот же год, когда мама подарила мне золотые сережки с гранатиками, и мне протыкали уши раскаленной швейной иглой, а под мочку подкладывали ржаную корочку. Я не издала ни звука, терпела. И мама сказала: «Ты герой».*

*Я девушку обняла и поцеловала. Сказала ей: «Не бойся, опасность позади».*

*И тут отбой. Закончилась тревога. И снова мы живы.*

*Я это пишу у моей двоюродной сестренки Кору. Кора год назад приехала в Ленинград из Москвы да так и осталась здесь. Хотела поступить в Академию художеств, не поступила. Я часто приезжаю к ней. Она снимает маленькую комнатку в огромной коммунальной квартире на Пятой линии Васильевского острова. Работает на Кировском заводе. Ей по рабочей карточке выдают четыреста граммов хлеба, и она делится со мной.*

*Мы вечерами сидим за круглым столом, жжем керосиновую лампу и бесконечно говорим о еде. Все о еде и о еде. Хлеб съедим после того, как Кора придет со смены, а есть больше нечего. И Кора мне рассказывает о пирогах с капустой и яйцом, о том, как она их сама пекла в Вышнем Волочке у бабушки Ены. А я ей – о курочке с чесночком, мама так любила готовить.*

*Мама! Я не могу представить, как она там на фронте.*

*Сейчас сяду писать ей письмо. Пишу, а губы сами шепчут: мамочка, ты не думай, мы тут выдержим, мы все выдержим.*

### **31 октября 1942**

*Опять ночь, и опять чердак. Наши зенитки бьют. Слышала, как бомбы свистят. И бомбы, и пули так противно свистят! Понимаешь: вот летит и свистит твоя смерть, и становится так тоскливо, одиноко. Страх притупился. Остались тоска и боль.*

*Кора устроила меня к себе на завод. Я хочу по мере моих сил помочь стране.*

*Сидела на чердаке, на старом сундуке. Что в сундуке? Чьи-то старые тряпки, чья-то прошлая жизнь. А если заглянуть? Из сундука доносится приятный запах. Старые духи. А та, что душилась этими духами, может быть, давно умерла. И вдруг я подумала: какая разница, когда умрешь? Во время войны, после? Убьют, или доживешь до глубокой старости, и тебя, дряхлую, положат в гроб и свезут на Пискаревку?*

*И все же страх есть. И озноб. И жуть охватывает, когда опять, с неба, вокруг тебя – этот мерзкий свист.*

*Скоро утро, и на завод.*

*После смены пришла домой, шатаюсь – от усталости и от голода. В институте занятий нет: отменили. Когда возобновят, неизвестно.*

*Ночь пришла, а спать не могу. В ушах дикий вой сирены. На стенах ходят черные тени. Я вскакиваю в постели и прижимаю пальцы ко рту, чтобы не кричать.*

*Ругаю себя: Ника, ты что, в нытика превратилась?! Да ты просто тряпка после этого! Другие терпят, высоко голову держат, а ты! Кляча водовозная, как говорила баба Ена! Оглянись вокруг-то, шепчу себе, сколько рядом с тобой замечательных людей! И они каждый день говорят тебе – и словами, и глазами: держись, Ника, война все равно кончится когда-нибудь! У тети Фаи сейчас не бываю: у нее трое детей, да еще я свалюсь на голову, лишний рот. Надо совесть знать. А гостинца, чтобы привезти, нет никакого. Разве свой хлебный паек прихватить. Дети поедят. А я останусь голодная и не смогу дежурить на чердаке – упаду.*

*Тетя Фая недавно сама позвонила мне. Я ее голос по телефону не узнала. Думаю, кто это шелестит, как сухой листок осенний? А она мне: «Здравствуй, Никочка, как ты? А я еле держусь на ногах. Нюся захворала, у нее по всему телу чирьи пошли! Жижилка так отощала – сил нет глядеть, душа разрывается... И у Фифы нарывы. Я нашла в подвале старый лук, луковицу разрешила, испекла и девочкам к чирьям горячий лук прикладываю... Никочка, смотрю на себя в зеркало – там вместо меня загробная тень! Никочка, если я завтра умру – я тебе завещаю свои коралловые бусы! Пригляди за девочками, ладно?»*

*Я ничего не могла говорить, только плакала в трубку.*

*Сердце от жалости ныло. Я положила трубку, прислонилась лбом к коридорной стене и зарыдала в голос. Из комнаты напротив вышла старая Марихен – она сидела в гостях у Елены Дометьевны. Марихен поглядела, как я рыдаю, и строго изрекла: «Москва слезам не верит, а Петербург и подавно. Выше голову!» По старинке сказала – «Петербург».*

*И я выше голову подняла, и вытерла кулаком глаза, и постаралась улыбнуться старой Марихен. И она улыбнулась мне, а зубов у нее во рту – раз, два, и обчелся.*

*У меня ноги слабеют, руки не двигаются. Даже ручку, и то держу с трудом. Иногда перо обмакнуть в чернильницу нет сил.*

*Я маме ни слова не напишу об этом.*

*От нее с фронта письма приходят редко. Я каждый конверт целую и к щекам прижимаю.*

*О папе стараюсь не думать. Я тоже ему пишу, все время. Но от него ответа нет и нет. И похоронки на него тоже нет. И то, что без вести пропал, тоже письмо не шлют. Где он?*

*Я буду ждать его до последнего. До победы.*

*В пятницу ездили с Корой к тете Соне. Она только что похоронила мужа, дядю Сергея. Еще девяти дней нет. Тетя Соня говорит: он, когда услышит сирену тревоги, весь вытянется на кровати, вцепится пальцами в одеяло и хрипит: «Сонюшка, только чтобы не в постели сгореть! Не в постели! Не хочу мучиться живьем в огне!» Умер ночью, уснул и не проснулся. Сердце остановилось. Тетя Соня исхудала страшно. От нее остались кожа и кости. Она нас хорошо встретила: на обед был ржаной хлеб, посыпанный довоенными приправами – перцем, куркумой, кориандром, это вместо масла, – на дне баночки засохшее сливовое варенье и кипяток с полосатыми «подушечками». Она смотрела на нас с Корой круглыми глазами, и в них плавали слезы. Она все шептала: «Девочки, как я люблю вас, так люблю, вы мне как доченьки, только, пожалуйста, не уходите на фронт, не уходите».*

*И мы обнимали тетю Соню и крепко целовали ее, и лица у нас у всех были мокрые и соленые.*

## **10 ноября 1942**

*Я сегодня ездила в институт. Там с нами проводили политбеседу.*

*Сейчас десять вечера, я уже дома. Поставила на плиту чайник, жду, когда он запоет.*

*Политбеседа была прекрасная. Мне очень понравилось. Мы сначала читали вслух, потом все вместе обсуждали речь товарища Сталина. Товарищ Сталин произнес эту речь шестого ноября на торжественном заседании правительства в Москве.*

*Речь совершенно удивительная. Я под впечатлением! Такое чувство, что в этой речи товарищ Сталин дал мне, да и не только мне, но и нам всем ответы на все самые большие вопросы. Нам всем нужна вера в победу. Товарищ Сталин дает нам эту веру! Да, я знаю, что война еще долго будет. Но мы победим. Мы! Победим!*

*И я сказала себе: Ника, ты должна быть храброй и стойкой. Переноси все невзгоды с улыбкой. Выше голову, как говорит старая Марихен!*

*Седьмое ноября я запомню на всю жизнь. Весь Ленинград был в развевающихся на ветру красных флагах. Серые камни и красные огни. Над улицами растянуты лозунги и призывы. На трамваях, автобусах, на автомобилях и грузовиках тоже трепетали красные флажки. Отовсюду звучала бодрая музыка. Как до войны! Не было демонстрации, это да; но на самом деле она была у всех в сердцах. Наша сила – с нами!*

*А вечером мы с Корой пошли в кинотеатр «Форум», смотреть фильм «Депутат Балтики». Я в восторге и от фильма, и от праздника!*

### **20 ноября 1942**

*Последняя декада ноября. Морозы усиливаются. Хотя по сравнению с настоящей зимой они пока ерундовые. А Нева уже замерзает у берегов. Я так люблю эти плоские ломкие, как сахар, льдины, на льду сидят черные утки. Где они добывают пропитание?*

*Сирена тревоги воет по два, по три раза в день. Нас на заводе предупредили – продуктовый паек еще урежут. Хлеба теперь полагается сто двадцать пять граммов в день. Когда обедаешь в столовой, из твоей карточки за суп вырезают талон: «25 гр. крупы», за кашу «50 гр. крупы», за котлету «50 гр. мяса». Мы с Корой решили так: едим одну неделю только суп, а другую – котлету без гарнира. Мы это здорово придумали!*

*Кора с Васильевского острова переселилась в общежитие – у нее не хватало денег оплачивать комнатушку. А я подселась к ней. Вдвоем нам легче. Гришка теперь один.*

*В институте возобновили занятия. Они длятся четыре часа. Я посещаю все лекции, все аккуратно конспектирую. Уже думаю, как буду сдавать сессию. В аудиториях дикий холод, об отоплении нет и речи.*

*Мы с Корой как-то взбодрились, окрепли духом. Хотя иной раз и разрыдаемся, и прижмемся друг к дружке, и так сидим, крепко обнявшись. Мы очень исхудали. И у нас, как у дочек тети Фаи, по телу пошли волдыри. Это от голода.*

*Вчера опять ходили в «Форум». Смотрели кинокартину «Маскарад».*

### **23 декабря 1942**

*Каждый день хожу на занятия в институт. На заводе работаю в вечернюю смену. Сессия начнется сразу после Нового года. До конца января надо сдать три экзамена и пять зачетов. Еще одно горе: отключили электричество. Света нет. На плитке горячее не приготовишь. Лекции идут в темных аудиториях. В гардеробе тетя Ксения стоит со свечкой, как во времена Пушкина. Общежитие погружено во мрак. И когда свет дадут – никто не знает. Всю энергию бросают на военную промышленность. На заводе свет есть!*

*Вот пишу это все в дневник и думаю: а скоро ведь Новый год. Военный Новый год... И так захотелось мне поздравить всех наших советских людей с наступающим Новым годом!*

*Вот сейчас я это и сделаю.*

*Поздравляю вас, все наши любимые, близкие и далекие, с Новым 1943 годом! Желаю вам весело встретить его около пушистой нарядной елки! Пусть этот год принесет нам победу над врагом! Пусть вернет нам нашу прежнюю безоблачную, счастливую жизнь! Наши доро-*

*гие, милые, любимые! Призываю вас: будьте мужественными, будьте стойкими! Наступит час – и закончатся все наши огромные страдания. Мы победим Гитлера.*

*Уже четыре месяца фашисты рвутся к Ленинграду. Но обломают они зубы! Мы стоим насмерть! Мы крепко бьем врага на подступах к Ленинграду! Мы счастливы каждой, даже самой маленькой победой! Каждой отвоеванной деревней! Каждой взятой высотой! А блокаду мы переживем. Мы сдюжим! Все родные, дорогие, будьте только здоровы во имя нашей победы! Держитесь! Из всех сил!*

*[дитя гитлер]*

– Лоис! Лоис, посмотри, что делает наш любименький, золотой мальчик!

Моя мать, Клара Шикльгрубер, беспомощно, как птичка, оглянулась на моего отца, Алоиса Шикльгрубера. Я сидел у матери на руках, в новом шерстяном костюмчике, мама поправляла мне белый воротничок, обшитый венским кружевом, а я корчил ей рожи, как обезьяна.

– Погляди, какую рожицу он состроил! Не иначе, актером будет!

– Мама, я стану судьей, – басом сказал я и скорчил самую важную рожу, какую только скорчить мог. – Я буду судить людей. Если они провинятся, я буду сажать их в тюрьму. За решетку. И они будут плакать и кричать, и цепляться за решетку руками, и проситься на волю. Но я их накажу! Ведь ты же наказываешь меня за проступки!

И я нагнулся и избобрил, как шлепает меня по заду мать.

– Судья ты мой! – воскликнула моя мать Клара Шикльгрубер и крепко расцеловала меня. – Да я сама рада буду к такому судье в лапы попасть!

И еще поцелуй. И еще.

Медленно подошел отец. Я слышал его тяжелые шаги по половицам нашего дома в Пассау.

– Клара, хватит тетешкать парня. Он уже взрослый. Ему уже пять лет, а ты обращаешься с ним, будто он сосунок. Он уже взрослый мужик! Дрова рубить пора!

Вот отец совсем близко. Он протянул руку и холодными пальцами коснулся моего носа.

– А ты знаешь, Клара, – задумчиво сказал он, и угроза послышалась в его голосе, – он на меня ведь ни капельки не похож.

Моя мать закудаhtала как курица.

– Как это непохож! Как это непохож! Очень даже похож! Очень даже! Вылитый ты! Как две капли воды! Как две...

– Замолчи, Клара, – поморщился отец, – это все я уже слышал.

Он взял мое лицо в свои руки. Ладони тоже были холодные. Мое личико быстро замерзло.

– Папа, у тебя ладони как у мертвеца, – весело сказал я.

Мой отец Алоис вздрогнул. Плотнее прижал руки к моим щекам.

– Ах ты, ах ты, – невнятно пробормотал он, – какие щечки, какие яблочки, так бы и съел. Так бы и откусил. Зубы запустил. Яблочки. Красненькие. Наливные.

Отец оскалил зубы и стал похож на волка. Мать испуганно потянула меня к себе. Ее широкие, лопатами, рабочие пальцы грубо и больно врезались мне под ребра.

– Лоис, ты спятил! Зачем ты ребенка пугаешь!

Мой отец продолжал скалиться мне, волчья усмешка на его лице застыла, будто прилипла к зубам и губам.

– Я не пугаю, – бормотание стало еще более невнятным, страшным, – я ничуть не пугаю... я... просто веселюсь... веселюсь... с моим мальчиком... с наливным яблочком...

Отец приблизил свое лицо к моему лицу. Я попытался повторить его усмешку, показать ему все свои зубы. Не получилось. Тогда я отпрянул. Зарыл голову в складки платья на груди моей матери. Шершавая, плотная грубая ткань оцарапала мне нежную щеку. А может, это был

острый край деревянной пуговицы. Я захныкал и крепко прижался к матери. Она положила обе широких ладони на мою спинку, под лопатки, и сильно-сильно прижала меня к себе. Ладони, в отличие от отцовых, у нее были горячие, как угли. Как стенка нашей печки, если ее от души натопить дубовыми дровами.

– Дай мне его, – властно сказал мой отец Алоис и протянул ко мне руки.

– Лоис, ты пьян! Ты напился пьяный! Ты не в себе! Как я дам тебе ребенка!

– Дай! Я трезв как стеклышко!

Мать обнимала меня. Обвила меня теплыми руками. Мне было так приятно. Я прилип к ее горячему, плотному как черствый пирог, костистому крепкому телу. У моей матери широкие плечи и толстые запястья. Она лучше мужчины копает лопатой землю и лучше любой женщины печет сладкий кuchen, я так его люблю. Еще она прекрасно, очень вкусно делает яблочный штрудель с корицей. Запах от штруделя ползет из дома на улицу, и окрестные мальчишки и девочки сбегаются к нашему дому, и кричат, и шепчутся: фрау Клара печет штрудель, может, мы ей песенку споем, и нам кусочек отломится!

– Дай, – настойчиво, уже грозно повторил мой отец и взял меня за плечи, и рванул к себе.

– Нет! – крикнула моя мать. У нее стали огромные от страха глаза.

– Дай!

– Нет!

Мои родители рвали меня друг у друга из рук, забыв о том, что я живой. Отец вцепился мне в плечи. Дергал больно. Мать все сильнее обвивала меня большими пылающими руками. Отец тянул на себя. Мать – к себе. Рывок, еще рывок. Больно! Еще рывок. Мне больно!

– Мне больно! – крикнул я пронзительно.

Мой отец сделал усилие и дернул меня к себе так, что я взвизнул. От моего визга лопнуло стекло в лампе под абажуром.

– О мой Бог, – сказала моя мать, и ее толстые губы задрожали, – что ты делаешь, Лоис!

Мой отец Алоис держал меня на руках. Я орал. Его слишком твердые пальцы впились в мои плечики, в мои подмышки, в мою спинку. Я тряс ногами и извивался в его жестких, как плоскогубцы, железных ручищах. Он засмеялся. Страшным смехом. Очень обидным. Меня будто хлестали мокрой веревкой, вот какой это был смех.

Отец держал меня на весу, осколки разбитой лампы валялись под столом, мать плакала. Она отворачивала голову и старалась, чтобы отец не увидел ее слез, но она очень громко хлюпала носом, и у нее слезы текли не только из глаз, но из ноздрей тоже. И она утиралась передником и обшлагами.

Отец встал, продолжая держать меня. Я бил ногами, вырывался из его рук. Но меня впервые в жизни держали так крепко. Так жестоко.

– Ты, – сказал мой отец и придвинул ко мне усатое, властное, страшное, круглое лицо, – ты! Перестань орать! Перестань дергаться! Я что тебе, хищник, да?! И сейчас тебя сожру?!

– Лоис, – сказала моя мать и особенно громко хлюпнула носом, – ты напугаешь его на всю жизнь!

Отец стоял, держал меня на вытянутых руках и смотрел на меня так, как будто я был подопытной лягушкой. Мы с мальчишками ловили лягушек, распяливали их на дощечках и отрезали им сначала задние лапки, затем передние, потом потрошили их, потом отрезали головку. Отрезанные лапки продолжали дергаться, а мы смеялись: живые! Живые!

И вот я теперь такой лягушонок. И мой отец сейчас отрежет от меня сначала одну ножку, потом другую, и будет смотреть, как мои ножки дергаются, дергаются, судорожно сгибаются в коленках.

И тут отец неожиданно захохотал.

Он хохотал весело, блестя зубами, шевеля тараканьими усами, раскатисто, громкоподобно, и моя мать поспешила насухо вытереть передником глаза и подобострастно улыбнуться.

У моей матери не хватало во рту острого клыка. Поэтому, когда она улыбалась, она казалась старой, хоть была еще молодая.

– Ха-ха-ха! Клара, ну и выражение лица у него! Как у солдата на плацу, когда ему кричат: за провинность сотня шпицрутенов!

– Ха-ха-ха! Да, мордочка что надо! Ну, засмейся, сынок! Видишь, папа с тобой шутит! Папа играет! Это такая веселая игра! Такая...

Я скорчил самую ужасную свою рожу, закатил глаза под лоб, забился в руках отца, и меня обняла тьма. Перед тем, как я упал во тьму, я увидел: все осколки с пола собрались, соединились опять в целехонькую лампу, лампа взлетела и сама ввернулась под абажур, и сам собою вспыхнул свет, и я обрадовался, и потом заплакал, потому что свет был очень яркий, он ударил мне по глазам, и я захотел, чтобы настала тьма, и она настала.

А потом я проснулся в своей кроватке. Моя мать наклонялась надо мной. У меня на лбу лежало мокрое холодное полотенце. Я сдернул полотенце и сбросил его на пол. Скривился и заревел. Мать вытирала передником слезы у меня со щек и причитала:

– Вот, бледненький такой лежит, а ведь румяненький такой был, просто настоящее яблочко, настоящее. Зачем полотенчику на пол бросил? На полу пыль.

Она подняла с пола полотенце и перекинула его через локоть. Я сквозь слезы спросил мою мать:

– А папа правда пьяный был?

– Правда. От радости, – сказала моя мать и сжала в кулаке грязное полотенце.

– От какой радости?

– У него другая женщина.

– Что такое другая женщина? – спросил я растерянно мою мать, и она медленно отвернулась от меня.

– Когда мужчина радуется, как пьяный, но он не пьяный.

– Мама, я хочу штрудель! – сказал я и слизнул слезу с губы. – У нас еще остался штрудель?

И моя мать послушно пошла на кухню, и вернулась, и принесла мне на фаянсовой тарелке с золочеными краями кусок штруделя, и он пах корицей, жженым сахаром и спелым штрейфлингом.

*[интерлюдия]*

### **Так говорит Черчилль:**

Я стремился найти какой-либо путь для оказания помощи Вашей стране в ее велико-лепном сопротивлении впредь до осуществления рассчитанных на более длительный период мероприятий, по поводу которых мы ведем переговоры с Соединенными Штатами Америки, и которые послужат предметом Московского совещания. Г-н Майский заявил, что испытывается сильная нужда в самолетах-истребителях ввиду Ваших тяжелых потерь. Мы ускоряем отправку 200 самолетов «Томагавк», о которых я телеграфировал в своем последнем послании. Наши две эскадрильи в составе 40 «Харрикейнов» должны прибыть в Мурманск около 6 сентября. Вы понимаете, я уверен, что самолеты-истребители составляют основу обороны метрополии. Кроме того, мы стремимся достичь преобладания в воздухе в Ливии, а также снабдить Турцию, с тем, чтобы привлечь ее на нашу сторону. Тем не менее я мог бы отправить еще 200 «Харрикейнов», что составило бы в общей сложности 440 истребителей, если бы Ваши пилоты могли эффективно их использовать. Речь идет о самолетах «Харрикейн», вооруженных восемью – двенадцатью пулеметами. Мы нашли, что эти самолеты весьма смертоносны в действии. Мы могли бы послать в Архангельск 100 штук теперь и вскоре вслед за тем две партии

по 50 штук вместе с механиками, инструкторами, запасными частями и оборудованием. Тем временем могли бы быть приняты меры, чтобы начать ознакомление Ваших пилотов и механиков с новыми моделями, если Вы их прикомандируете к нашим эскадрильям в Мурманске. Если Вы сочтете, что это принесет пользу, соответственные распоряжения будут даны отсюда; исчерпывающая объяснительная записка по техническим вопросам передается по телеграфу через нашу авиационную миссию.

Известие о том, что персы решили прекратить сопротивление, весьма приятно. При всей важности защиты нефтяных источников целью нашего вступления в Персию было в еще большей степени стремление установить еще один сквозной путь к Вам, который не может быть перерезан. Имея это в виду, мы должны реконструировать железную дорогу от Персидского залива до Каспийского моря и обеспечить ее бесперебойную работу, используя дополнительное железнодорожное оборудование, доставляемое из Индии. Министр Иностранных Дел передал г-ну Майскому для представления Вам примерные условия, на которых мы хотели бы заключить соглашение с Персидским Правительством с тем, чтобы иметь дело с дружественным народом и не быть вынужденными тратить несколько дивизий только на охрану железной дороги. Продовольствие посылается из Индии, и если персы подчинятся, то мы возобновим платежи за нефть, причитающиеся в настоящее время Шаху. Мы приказали нашему авангарду продвигаться вперед с тем, чтобы наши силы встретились с Вашими в месте, которое будет установлено командующими где-либо между Хамаданом и Казвином. Было бы хорошо, чтобы весь мир знал, что британские и советские вооруженные силы действительно подали друг другу руки. По нашему мнению, было бы лучше, чтобы ни мы, ни Вы не вступали в Тегеран в настоящее время, ибо нам нужен лишь сквозной путь. Мы устраиваем крупный базисный склад в Басре и надеемся построить там хорошо оборудованный тепловодный порт для приема грузов из Америки, которые таким путем наверняка достигнут районов Каспийского моря и Волги.

Не могу не выразить вновь восхищения британского народа великолепной борьбой русских армий и русского народа против нацистских преступников. На генерала Макфарлана произвело чрезвычайно большое впечатление все, что он видел на фронте. Нам предстоят очень тяжелые дни, но и Гитлер не проведет приятной зимы при нашей все более увеличивающейся бомбардировке с воздуха. Мне доставило удовольствие весьма твердое предупреждение, сделанное Японией Вашим Превосходительством относительно товаров, прибывающих через Владивосток. Президент Рузвельт при встрече со мной был как будто расположен к тому, чтобы занять твердую позицию в случае дальнейших агрессивных действий со стороны Японии, будь то на юге или в северо-западной части Тихого океана, и я поспешил заявить, что он может рассчитывать на нашу поддержку в случае войны. Мне очень хотелось бы оказать большую поддержку генералу Чан Кай-ши, чем мы были в силах оказать до сих пор. Мы не хотим войны с Японией, и я уверен, что ее можно предотвратить тем, что мы поставим этих людей, которых разделяют разногласия и которые далеко не уверены в самих себе, перед перспективой образования самой мощной коалиции.

*Уинстон Черчилль,  
30 августа 1941 года*

*[Гитлер и ева]*

Пустыня стола.

Ледяная пустыня.

Далеко друг от друга чашки, тарелки стоят. Вилки опасно блестят. Ножи селедками плывут.

Далеко, далеко, на краю стола, сидит женщина. Белое пламя кудрей завивается, дышит вокруг головы. Ее лицо похоже на ветер, льется, течет. Перед женщиной прибор: глубокая

миска на плоской тарелке – для супа; серебряная длинная тарелочка – для жаркого; длинный, как берцовая кость, бокал; ложка справа, вилка и нож слева.

Лакей вежливо приподнимает крышку супницы. В нос лакею ударяет струя горячего пара. Он осторожно, будто ловит сетью рыбу, опускает в супницу половник.

Кудрявая блондинка поднимает бледное лицо. Пристально смотрит – будто вдаль, будто в горах. Далеко, на другом краю стола, на другом краю земли, сидит человек. Женщина видит его круглые, пуговицами, глаза, черную полоску усиков над дергающейся губой. До нее внезапно доходит: усики как у Чарли Чаплина. Она подносит к губам руку и прыскает в ладошку, как девчонка, смеющаяся над гримзой-бонной.

Тарелки женщины пусты. А у мужчины уже все в тарелки положено. Второго блюда лакей наложил щедро, сверх меры. Мужчина с черными усиками морщится: он же не слон, чтобы так много сожрать.

На первое у них суп из утиной печенки с грибами.

На второе – утка в яблоках, по-чешски – ей; жареные кабачки с морковными котлетами – ему.

На десерт – мороженое с коньяком и персиковым соком, а еще варенье из мелких китайских яблочек, Ева его так любит, он приказал сварить.

– Ева! – Голос доносится тускло и тоскливо, как по телефону – из Парижа или Лондона, издалека. – Ешь, пока горячее!

Женщина опускает голову. Ее щеки заливает краска. То ли стыда, то ли гнева. А может, удовольствия. Она, как и он, любит вкусно поесть. В отличие от него, она не знает, не понимает, что творится на Восточном фронте. Она не хочет вдаваться в подробности. Подробности страшны и неистовы, от них пьянеет голова и улетучивается рассудок. Она уже забыла, что она актриса. А ведь Лени Рифеншталь приглашала ее сниматься в фильме. И еще режиссеры приглашали; не надо помнить их имена. Все помнят и все записывают секретари. У любовницы Вождя хорошие секретари.

Женщина хочет сказать мужчине: «Я не хочу обедать, я еще не проголодалась», – но вместо этого разевает рот и говорит ясно, отчетливо, чтобы на далеком конце стола было слышно: – Хорошо, Адольф! Все так вкусно, спасибо!

Где-то далеко, будто на том свете, раздастся одинокий, строгий, раздраженный голос:

– Никогда не благодари меня! Благодарят только горничные!

Еще дальше, на другой планете, этажом или двумя ниже или выше, она не знает, в детской столовой обедают их дети. Их трое детей. Нет, пятеро, она перепутала. Да, пятеро, точно. И Вождь хочет еще ребенка. Это значит, она скоро опять будет ходить с животом. У нее такая славная фигура, что живот не видно даже на сносях, если носить платье с широкой складчатой юбкой.

Пять родов – и великолепная талия. И спортивная, высокая и красивая грудь. Сильные руки, сильные ноги. Идеал белокурой тевтонки. Женщины Германии берут с нее пример.

Восточный фронт? Ерунда. Это же блиц-криг. Скоро все закончится.

А для Вождя – начнется.

Он будет разбираться с новыми землями. Ее герой. Ее завоеватель.

Когда-то он и ее завоевал.

Она вздохнула, проследила за рукой лакея и погрузила ложку в густоту супа. Выловила коричневый разваренный гриб. Это не трюфель. Нет, точно не трюфель. Это белый гриб, о, лишь бы не червивый. Она страшно боится червивых грибов.

Пятеро детей уже не стучат за стеной ложками и чашками.

И трое не стучат.

Они молчат. Они молчат у нее в пустом животе. Тяжело дышат у нее под гулким черепом.

Это она сама так медленно, трудно дышит, в окружении нежной горячей еды, под стеклянным взглядом лакея.

Далеко, на том краю земли, ледяной одинокий голос выдавил жестко, натужно:

– Ева! Почему ты не ешь? О чем ты думаешь?

Она заставила себя широко, белозубо улыбнуться. Поднесла ложку с гладким, как улитка, грибом ко рту. Втокнула в рот. Когда гриб хитро скользил по пищеводу, он показался ей головкой крошечного, игрушечного ребенка, лилипутика, а может, выковырянного кюреткой из чрева шестинедельного плода. Ее замутило и чуть не вырвало. Она сделала судорожное глотательное движение и сказала тихо, надеясь, что усатый человек не услышит:

– Я не думаю. Нет, я не думаю. Я ничего не думаю.

*[тибет калзан]*

Рейх сказал: надо! Гюнтер ответил: есть! Эта экспедиция не входила в вереницу его предположений о том, как он проведет войну. До операции «Барбаросса», которая и являлась вожденным победным блиц-кригом и в результате которой должны были стать на колени все восточные скоты – русские, белорусы, украинцы, словом, все восточные славяне, Гюнтер принял участие еще в одной операции Рейха.

Засекреченной.

Он и думать не думал, что попадет в столь отдаленную от Европы часть планеты. Но чего на свете не бывает. Какая радость, что он посетил мир в его самые великие, роковые времена! Что именно он, Гюнтер Вегелер, вместе с другими немцами – в центре мировых потрясений. Но здесь?

Что он – и его соплеменники – делают здесь, в далеких безумных горах? Здесь и сейчас?

Здесь и сейчас. Как это они, раскосые люди, учат, как старательно пишут кривыми узорчатыми буквами в своих толстых свитках, намотанных на смешные деревянные скалки: «ТЫ ЖИВЕШЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».

Сколы гор горели синим и лиловым. Выходило из-за края земли солнце, и бешеный алый цвет захлестывал глаза. Сердце при этом начинало биться сильнее. Гремело в груди. А может, это просто наступало кислородное голодание.

Гюнтер спросил прохожего, как называется это селение, по пыльным улочкам которого они брели. Косоглазый человек остановился, вынул из сморщенного рта трубку, заскользил равнодушными зрачками по Гюнтеру. «Ладак, – и добавил на своем языке: – А зачем белый человек пришел сюда?» Гюнтер не понял, улыбнулся и похлопал старика по плечу. Вынул из кармана зажигалку и подарил дикарю.

Люди здесь все были на одно лицо. Дома одинаковые. Белый камень, маленькие окна. Женщины носили на груди тяжелые, гладко обточенные булжники, в ушах – пронзительно-синюю и радостно-зеленую бирюзу. На головах у них торчали уморительные шапочки – шерстяные бочонки с белыми птичьими крыльями. Одной женщине тут разрешалось иметь много мужей: женщин в горах рождалось мало.

Мужчины, сидя на пороге дома, размешивали пальцами в деревянных мисках муку с ячьим молоком, катали странные смешные шарики. Эти шарики народ тут ел. Однажды Гюнтера угостили мучными шариками. Он поблагодарил, проглотил, отвернулся и с трудом подавил рвоту.

Они останавливались то в одном доме, то в другом. Хозяева, молчаливые люди с лицами-тарелками, низко кланялись им, пытались кормить и поить. Они отказывались: в рюкзаках еды навалом, начальник только просил хозяев вскипятить воды. Здешним чаем их тоже пытались угощать. Начальник пил и облизывался, и хохотал, видя, как вытягиваются лица подчиненных.

Гюнтер заглянул в широкую чашку: зелень, жир, чай щедро разбавлен молоком. Ему показалось – в чашке плавает мясо. Хозяин склонился вежливо, Гюнтер сделал отвергающий жест рукой. В железной походной кружке заварил крепкий цейлонский чай, вдыхал аромат, забрасывал в рот шоколад, разламывая темную плитку на нервные осколки.

Их целью были не Ладак, не Лхаса, даже не Лех: выше Капилавасту располагался монастырь, туда они и направлялись. В рейхсканцелярии им четко, внятно сказали: в монастыре – бесценные сведения об утраченных способностях человека, о внутренней энергии. О магии нашего священного знака. Свастика не вчера появилась. Свастика – средоточие земной силы в виде особым образом расположенных линий. При помощи свастики можно концентрировать силы человека и земли. До такой степени, что никакие бомбы в будущей войне уже не понадобятся.

Гюнтер пробовал смеяться над этими детскими рассуждениями – правда, не в лицо начальнику, а про себя. До тех пор, пока один из них не захворал тяжело и бесповоротно – останавливалось сердце, не перенесшее воздуха высокогорья. Умиравшего положили во дворе. Они все столпились вокруг товарища. Все лекарства из походной аптечки были перепробованы. Инъекции сделаны. Все напрасно. «Даже телеграмму из этого медвежьего угла в Германию, родне, не пошлешь», – угрюмо подумал Гюнтер.

Солнце било в лицо умирающему юноше, и тут из тени, из-под навеса над крыльцом, шагнул хозяин. В углу рта, как у всех старых ладакцев, у него пыхала сизым дымом трубка, изогнутая в виде атакующей кобры. Старик всмотрелся в лицо мальчика. Хлопнул в ладоши. Выбежал смуглый косорылый мальчонка, может быть, внук. Вместе с внуком старик вынес во двор бадью с рыжим песком, и они стали набирать в кулаки песок и рисовать им на земле круги, кольца, стрелы, квадраты.

Гюнтер глядел, онемев. На утрамбованной земле нищего двора появлялся рисунок, ему показалось, Солнечной системы из учебника астрономии. Красивые круги, один в другом. Старик и мальчонка взяли юношу под мышки и подтащили к странному рисунку. Уложили головой в центр мандалы, прямо в точку, с которой начали рисовать. Опустились на колени, сложили руки и стали петь, гундосо и хрипло, длинно, бесконечно растягивая гласные звуки. Дыхание умирающего выровнялось. Грудь поднималась выше, все выше. На щеки всходила краска. Пение продолжалось, старик гудел все громче, внук вторил ему нежным птичьим голоском. Они странно растягивали один слог: «О-м-м-м, ом-м-м-м таре... туттаре!» Умиравший открыл глаза и сказал: где я? Пить хочу!

Начальник тоже, как поющие, встал на колени и осторожно взял в руки голову юноши. «Как ты, Вольфганг?» Юноша улыбнулся. «Хорошо. Мне странно хорошо. Я умер и воскрес, да?»

Еще через минуту Вольфганг уже сидел и пил горячий чай из кружки Гюнтера.

После того случая Гюнтер многое понял.

И прежде всего он понял: не надо быть самоуверенным индюком, а еще – считать свой народ первым на земле.

Ведь сам Гитлер послал их сюда. Они – стратонавты Гитлера. Они входят в синюю, чистую стратосферу Тибета, и сейчас, скоро, они выловят здесь, под слепящей снежной вершиной, последнюю, острую как копьё тайну Земли. Правду говорят: тогда не надо будет никаких войн, никаких минометов и самолетов. Все решится одной песочной мандалой. Одним этим утробным стоном: «Ом-м-м-м-м».

Пыль вилась столбом за кривыми хвостами смиренных яков. Як, черный шерстяной диван: шерсть, молоко, масло, мясо, безошибочный путь по узким горным тропам. Як ступает осторожно и выверенно, он никогда не упадет в пропасть. Почти никогда. Здесь он лучше, точнее и лошади, и осла.

Гюнтер подходил, гладил яка между ушами. Як молчал. Смиренно принимал ласку чужого человека.

Отдохнув и подкрепившись, потеплее одев недавнего мертвеца, подтрунивая над ним: «Ну как там оно было, на том свете, Вольфганг, расскажи, а?!» – они двинулись по дороге прочь от Ладака, и старик, посасывая черную трубку-змею, стоял на пороге и бесстрастно, широко стоящими узкими глазами-иглами, глядел им вслед.

В перекрестье гор, высоко над пешей тропой каменными сотами нависли дома.

Дома лепились к склону горы дерзко и обреченно – казалось, дунет ветер, и сорвет их, и разнесет в клочья.

Начальник сверился с картой.

– Стой! Это здесь.

Люди стащили с плеч рюкзаки. Каждый ощупал оружие, при себе ли: несли не на виду, в кобурах или чехлах, а прятали в карманах, в чемоданах, в мешках. Здесь не надо было показывать, что ты вооружен.

– Бьюсь об заклад, Гюнтер, дикари даже не знают, что идет война, – усмехнулся недавний мертвец Вольфганг, хлопая себя по карману походных штанов. Карман оттопыривал увесистый «вальтер».

Гюнтер глядел на монастырь, нависший над ущельем. Солнце взошло высоко, и горы стали прозрачными, теряя четкие очертания, будто взлетели и оторвались от земли. Цепь красно-золотых снеговых треугольников висела на тонкой невидимой нити над вечно лежащей в пропастях тьмой. Солдаты Гитлера, задыхаясь от нехватки кислорода, перекидывались словами, как мячами.

– Как они нас примут?

– Может, и не примут вообще.

– Тогда расстреляем их?

– Тогда мы не узнаем того, что нам надо узнать.

– Значит, надо их задобрить?

– Ничего не надо делать нарочно. Веди себя как ведешь. Естественный человек лучше искусственной куклы, запомни это.

Они, преодолевая недомогание, поднялись по тропинке. У ворот монастыря сидел маленький лысый мальчик в желтом балахоне. Он перебирал четки. Увидев незваных гостей, он вскочил, подпрыгнул два раза по-лягушачьи, присел, раздвинув колени, потом чинно поклонился и сказал что-то веселое на своем языке.

– Видишь, нас приглашают, – ухмыльнулся Вольфганг.

– Вижу, – ответил Гюнтер. – Так войдем!

Солнце подталкивало их в спины, и они цугом, один за другим, вошли в монастырь, и мальчик в золотом балахоне бежал впереди, в пыли мелькали его коричневые пятки.

Им навстречу вышли монахи. Один, другой, третий. Вскоре вся площадка перед храмом заполнилась монахами. Все бритые, и все в ярких одеяниях: кто в темно-вишневых атласных плащах, кто в ярко-желтых, цыплячьих халатах. Мелькали и наряженные в алый шелк. «Священники», – подумал Гюнтер.

Монах в красной шелковой накидке, медленно, важно ступая, подошел к Гюнтеру и раскланялся. «Почему ко мне?» Солнце палило, жгло волосы и щеки. Нечем было дышать. Гюнтер поклонился в ответ, беспомощно глянул на начальника. Начальник обиделся, фыркнул. «Как девушка, обижается. Ревнует. Монах меня посчитал главным».

Красный монах вертел в руке странную штучку: медный цилиндр, изукрашенный причудливыми узорами. Цилиндр прикреплен к деревянной палочке с медным ободом, крутится гладко, без сучка без задоринки. Гюнтер не мог глаз оторвать от вращения священной игрушки.

Начальник, немного знавший тибетский язык, ворчливо перевел то, что сказал лысый монах в красном атласе:

– Чтобы не повторять молитвы, они крутят такие вот бирюльки. Ступайте вперед, герр Вегелер! Если уж вас приняли за главного – будьте им!

Монахи разом, как по команде, поклонились пришельцам. Немцы обводили глазами отшельников. Они мало смахивали на изможденных высокогорьем и постами несчастных. Веселые раскосые, гладкие лица. Мышцы играют под цветными шелками. Узкие глаза рыбами плывут, уплывают прочь с лиц, говорят о быстротечности жизни, о бессмертной улыбке солнца. Солнце улыбается шире Будды. Вон он, их великий Будда – посреди огромного храма: их сразу ввели в храм, чтобы чужаки могли поклониться святыням.

Странного цвета статуя. Из драгоценного камня?

Зелень переливалась, вспыхивала, через гладкую руку изваяния, на просвет, были видны храмовые свечи и медные, мраморные и каменные фигуры Тар: Белой Тары, Зеленой Тары, Синей Тары. Гюнтер не знал: это женские воплощения божества.

– Нефритовый, – со вздохом сказал Вольфганг. – Какая куча дорогого нефрита! Наши ювелиры дорого бы дали за этого балду.

Гюнтер не мог отвести глаз от выпуклых слепых, зеленых очей Будды. Веки и подняты, и опущены одновременно. Так одновременны жизнь и смерть. Мы живем, не зная, что такое смерть; она все время у нас за плечом. А когда мы умрем – мы перестанем знать, что такое жизнь, хотя она будет все так же продолжаться.

К ним подошли молодые монахи. Может быть, послушники. Они были одеты в длинные темно-красные плащи. Все бритые. Лбы маслено блестели. Глаза превращались в щелки, когда монахи улыбались. Один молоденький послушник шагнул к Гюнтеру, наклонил лысую голову, потом встал на корточки и коснулся кончиками пальцев его запыленных дорожных ботинок. Что значил этот жест? Гюнтер не знал, но на всякий случай улыбнулся юному монаху благодарно и смущенно.

Путников проводили в комнаты. Начальник, знающий тибетский язык, худо-бедно говорил с настоятелем. Начальник притворился смирной овцой: мы, белые люди, ученые, мы ищем древние тайны для своих научных книг. Настоятель кивал голой головой, хитро щурил косые глаза. «Мы расскажем вам, что знаем, – слова звенели медным гонгом, настоятель старался говорить медленно и разборчиво, – а что не знаем, не расскажем». Начальник понял и досадливо закусил губу.

Надо было располагаться на ночлег. Немцы скрепя сердце поели пищу, предложенную монахами: сухие лепешки, холодное молоко. Запас тушенки был на исходе, и начальник почел невежливым дразнить аскетов запахом мяса. Гюнтеру отвели отдельную каморку. Там стоял обитый медью сундук, лежала кошма из ячевой седой шерсти, на тумбе мерцал медный цилиндр для безмолвных мантр. Гюнтер взял цилиндр, весело повертел. Он напомнил ему детскую юлу. На губах застыл вкус сладкого жирного молока. Гюнтер напялил на себя овечью жилетку – в келье было холодно, как на улице. И ни печки, ни очага. Так они живут тут и мерзнут? Ах да, они же обладают внутренним теплом. Они сами себе печки. И, голые, молятся, скрестив ноги и руки, сидя под звездным небом в синих снегах.

Гюнтер лег на сундук, и медные заклепки холодили кожу через все слои рубах и курток.

Не спалось. Он глядел в потолок. Далеко, в Европе, грохотала война. Немецкий самолет ждал их в Лхасе. Дождется ли? Загнутся они все в этих горах! Беспричинный страх обнял, подмял под себя. Дверь скрипнула. Неслышно вошел молоденький послушник. Его голая голова блестела в лунном свете. Послушник встал на колени перед сундуком и тихо спросил: не нужно ли чего-нибудь предводителю белых людей?

Может быть, юнец спросил это как-то по-другому, но Гюнтер именно так понял.

Он спустил ноги с сундука. Спал в одежде, а ноги разул. Ботинки, громоздкие, тяжелые как утюги, стояли за сундуком: он за долгий путь натер кровавые мозоли и теперь блаженствовал. Застыдился ног в грязных носках. Послушник поймал его взгляд. Вскочил и убежал.

Вернулся через минуту. Нес в руках медный таз с водой.

Гюнтер ошалело смотрел на таз. На игру и качанье голубой под Луну воды.

Дно таза отсвечивало красным. Кровью.

– Снимите носки и опустите в таз ноги, – сказал послушник нежным голосом.

– Что? – спросил Гюнтер, не понимая ни слова.

– Я вымою вам ноги.

Красный плащ дрогнул и поплыл вбок, пальцы коснулись его голени и стащили с него носки. Он застеснялся своих голых вонючих ступней. Бритый юнец опустил его ноги в таз. Он ожидал встретиться с ледяной водой и уже хотел крикнуть и вздрогнуть, но под пятками, под ступнями плыло, качалось, обнимало щиколотки дивное, нежное тепло. «Как хорошо, он налил в таз горячую воду». Послушник медленно, осторожно водил ладонями по его коже, и блаженство окутало сначала ноги, потом сердце. Он будто спал и видел сон.

– Зачем ты моешь ноги мне?

Послушник понял его. Или ему так показалось.

– Это наш обычай. Путнику всегда моют ноги. Мыть ноги – показывать свою любовь. К ближнему и к дальнему.

Гюнтер глядел на свои ноги, крепко стоявшие на дне медного таза, дожелта начищенного песком, на игру лунных бликов в толще теплой воды. Луна заливала призрачным светом тонкие пальцы, запястья юнца. Слишком уж нежно мальчик гладит его ноги. Слишком страстно.

Закончив омовение, послушник насухо вытер ноги Гюнтера белой тряпицей.

– Спасибо. Райское блаженство. Но я...

Схватил юнца за руку. Хотел руку пожать, по-европейски.

Ощутил ответное пожатие.

Послушник выпустил его руку. Гюнтер открыл рот от изумления. Красный атлас заскользил вниз, упал на пол. Из кровавых складок святого плаща вышла тонкая, прозрачная в лунных лучах девушка. Она стояла голая у сундука, смотрела на Гюнтера и смеялась.

А может, она так плакала.

И плечи ее содрогались.

Лысая, бритая девушка! Солнечно горел медный череп. Ночь шла и проходила. Медлить было нельзя. Гюнтер протянул руки. Девушка-послушница вошла в его руки просто и без стеснения, как его девушка, как жена. И, как жена, она вольно и послушно легла под него, широко расставив колени, соединив пятки, образуя фигурой подобие позы лотоса – чтобы ему удобнее было войти в нее.

Она голая, а он одетый с ног до головы? Надо быстро это поправить. Он разделся, как в казарме, по секундомеру. Тряпки валялись по всей камере. Он подумал: если тут есть мыши, они придут и будут ночевать, греться в моей одежде. Он прикоснулся животом к животу головой девушки. Они дернулась, как от разряда тока. Он вдвигался в нее осторожно, прислушиваясь: что у нее там внутри? Не повредил ли он там чего у нее? Первый ли раз у нее это?

«Первый, наверняка первый. Она же будущая монахиня. Она же отказалась от мужчины на веки веков. Значит, я ей так понравился, что она не устояла».

Они сплелись крепко, очень крепко, так, что ее косточки хрустнули. Гюнтер сдержал себя. Он боялся – не удержит семя, не даст ей насладиться. На закинутаюверху раскосом лице не отражалось ничего. Ни страдания, ни радости, ни боли, ни отчаяния, ни счастья. Она только ритмично, строго двигалась под ним, отвечая на удары его тела.

Он захотел ее разбудить. Сжал сильнее, злее. Покрывл поцелуями шею, плечи. Впивался зубами в твердые соски. У него было чувство – он спит с медным Буддой. Такая она была

крепкая, твердая, гладкая. Он просунул руки ей под лопатки, прижался теснее. Излился в нее. Она ответила ему мелкими содроганиями твердого впалого живота.

Оба молчали – и когда двигались, и когда перестали двигаться. А о чем было говорить? Сделалось то, что сделалось. И вслед за временем настало другое время.

Послушница встала с сундука и оделась. Алый плащ скрыл груди, и она опять превратилась в мальчика. Наклонилась, изогнув спину колесом, и обеими руками подхватила тяжелый таз за медные ручки.

Синяя вода качнулась, лунный луч просветил ее насквозь. Медное дно вспыхнуло алой точкой. Красный блик отразился на подбородке девушки, переполз на щеку, на глаз, заставив на миг загореться зрачок, на лоб. Так, с красной точкой на лбу, она медленно пошла к двери, держа таз на весу. Открыла дверь ногой. Ногой и закрыла.

Они пробыли в монастыре неделю. Монахи показывали им древние свитки. Начальник с трудом переводил тибетские письма. Настоятель, снисходительно усмехаясь, помогал ему. Кто мог поручиться, что настоятель не врал, толкуя вечные тексты?

Под диктовку начальника они записывали в толстые тетради то, что говорили им монахи; фотографировали манускрипты, мандалы и танки, вышитые золотом на шелковых флагах, статуи Будды и его аватаров. Им была нужна не религия, а ее тайны. Не обряды, а то, что пряталось за обрядами.

«Что такое свастика?» – на прощанье напрямую спросил настоятеля Гюнтер. Настоятель поглядел вбок и вдаль. «Свастика – закон Космоса, – начальник послушно переводил для всех размеренную речь монаха. – Начертав ее и встав в ее средоточие, вы становитесь неуязвимы для многих бед. Однако надо делать это с чистым сердцем. А путь очищения долог и труден. Главное – быть чистым».

«Это главное? – удивленно спросил начальник. – А разве не главное – быть сильным?» Гюнтер молчал.

Он вспомнил синюю воду и лунный луч.

Он еще видел юную послушницу в толпе послушников и монахов; она подавала еду на длинные деревянные столы, когда монахи кормили гостей; мела двор монастыря; развешивала на ветру на длинных белых шерстяных нитях цветные смешные флажки, задабривая и восхищая Будду. Гюнтер боялся посмотреть на нее; ему казалось, все узнают про их ночь, и девушку избыют и с позором выгонят из монастыря. Когда они собрались в дорогу, он осмелился узнать ее имя. Спросил у мальчика в желтом балахоне, что по-прежнему сидел у ворот. Ее звали Калзан.

*Я вчера была ребенком. Сегодня я стала женщиной. Мои глаза закрыты, и я улыбаюсь. Я сижу в позе лотоса и смотрю внутрь себя. Мои глаза глядят не вовне, а внутрь, в сердцевину сердца. Я хочу увидеть свою чакру анахату*

*Я вижу: сердце – огонь, тихо горит в ладонях тьмы.*

*Глаза, глядите. Вы такие внимательные. Что вы видите?*

*Вы видите на дне огня – тьму. На дне тьмы – огонь.*

*Мир двойной. На дне мира – война. На дне войны – мир.*

*Не разорвать.*

*[первая встреча гюнтера и ивана]*

Огни полосовали небо, и холмы на поверхности земли вздувались белыми пузырями: накануне сражения прошел густой и тяжелый снег, плотно и толсто укрыл стонущую землю, покорно принимающую в себя труп за трупом.

Вечер и утро перепутались, поменялись местами. Команды и крики утихали, взамен приходило молчание снегов. Сдавленное рыдание медсестрички из медсанбата, глядящей на поле, усеянное мертвецами, прожигало тишину. Солдаты и командиры курили, сгорбившись в окопах. Тела сжимались в комок. Души ржавели. Мороз щипал щеки, выдирали уши с мясом, из ног делал железные штыри, стальные штыки. А ноги были еще живые.

«Мы все еще живые», – подумал Иван Макаров, натягивая глубже сапог. Холод пронизывал тело, прокалывал длинными синими иглами. Иван задрал голову: над окопом расстилось небо синее, умопомрачительное, голова кружилась глядеть в него: огни да огни, все огни да огни, и нет огням конца.

И нет конца ужасу человеческому на земле.

– Война, когда ты кончишься? – вслух спросил Иван самого себя.

Никто не давал ответа. И сам себе он ответа не дал.

Потому что ответа не знал.

Вчера хирурги оперировали наших, израненных, и немчика сраного. Немчик – беленький, длинный, неуклюжий гусенок – лежал на столе, и в зимних глазах у него плыли, мешаясь, ужас и небо, небо и ужас. Синие, безумные глаза. Бойцы переглядывались, перешептывались: эх, на Ваньку-то Макарова как похож! Одно лицо.

Вызвали Ивана, для смеху. Не над чем смеяться было. Фриц кровью истекал, хирург матерился. Иван подошел, осторожно переступая. Близо не посмел, стеснялся, понимал: по роже полотенцем хлестнут, наорут, вытолкают.

– Зачем его режут-то, сестрички?

За локоть медсестру Нату подергал. Ната, крепкая девушка с Нижней Волги, раскосая, может, татарка, а может, калмычка, дернула головкой в белой, стиральной, еще не замызганной медицинской шапочке:

– А что, убить надо обязательно?

– Ну... надо бы... враг...

– Так вот, – Ната приблизила к нему лицо скуластое, узкие глаза ее бегали-играли, две улейки, – враг не враг, а доктору приказ: во что бы то ни стало оставить в живых. Язык! Уразумел? За языками охотятся, а тут сам подарен!

– Понял.

Иван ковырнул носком сапога землю хирургической землянки. Косился на немчика – на столе расстелены рваные белые халаты, куски марли, нет, конечно, той чистоты, что при операции нужна. Хирург, Осип Павлович, руки мыл, гремел рукомойником, как цыганским бубном. Увидел хирург Ивана. Воззрился. Потом глаза на раненого немчика перевел.

– Это что еще за фокусы?! Братя, что ли?!

И Ната зыркала: на Ивана – на немца, на немца – на Ивана.

Вторая операционная сестра, Евстолия Ивановна, раскладывала на тумбочке инструменты.

– Никак нет, товарищ военврач!

– А зачем как два яйца из инкубатора?!

– Не знаю, товарищ военврач!

– А может, все ж таки брат?!

– Никак нет, товарищ военврач!

– Никак, никак, нет, нет...

Хирург бормотал, вставал к столу, ругался на Ивана, на немца, на войну, на обширную, тяжелую рану, которую надо было чистить, осколки костей вытаскивать, обрабатывать операционное поле, зажимать сосуды, а Иван туго, со скрипом, соображал: нет у него никакого брата, нет и не будет, поздно уже, маманька не родит, хоть он и молоденький парнишка, беленький как

девчоночка, да еще веснушки эти проклятые, в Иванькове его девки за эти веснушки совсем задразнили.

Девки-то смеялись, а Галька – замуж пошла.

Иван, родом из Иванькова – ну где это видано, где слыхано! «И деревня имени меня», – думал горделиво. Чувашская деревня на реке Суре, а Сура серебряная, узенькая, ленточка из девичьей толстой косы. А траву научился косить раньше, чем говорить. А на баржах плавать – раньше, чем на покосы со взрослыми ходить. Отец речник, дед бурлак, прадед бурлак, и все в роду бурлаки, до седьмого колена. На баржах – до Астрахани, до Перми, до Углича ходили. Отец из Астрахани дынь, арбузов в трюм накачивал. Мать ругалась: раскатываются по избе арбузы твои, как мячи! Жизнь, жизнь, уже забытая. Теперь вместо жизни – кровь и бинты. И разрывы, и черная земля летит в лицо, летит через щеки, глаза, череп – навывлет, в иной мир, о нем так много говорили старые люди, а молодежь над ним ржала-смеялась, особенно комсомольцы.

Иван перед войной вступил в комсомол. Всех принимали, и его позвали, и он пошел.

А что это было такое, комсомол, он толком и не знал.

Вот про девок он знал: эта – пойдет ночью на Шешкин бугор, а эта – не пойдет.

Галька, где твои глаза-угли? Твои груди-пироги?

Женка, женка, роди мне медвежонка...

Лицо накрыло овчинной рукавицей, мир посерел, и он сжал кулаки и вздохнул глубоко, чтобы все опять, как после дождя, прояснилось.

Ната встала к столу с одной стороны. Евстолия Ивановна – с другой.

Хирург руки в резиновых перчатках задрал. Говорил непонятные Ивану, незнакомые слова. Слова цеплялись друг за друга, как стрекозы лапками – за кору дерева. Прозрачные крылья слов трещали, сверкали на солнце.

Назавтра вся рота знала: зашитый кетгутом и обмотанный бинтами немчик как две капли воды похож на Ваньку Макарова. При немчике нашлись документы, в кармане гимнастерки; ихний фрицевский паспорт и ихний, фрицевский военный билет, что ли, и там все по-ненашему. И еще круглый металлический жетон с буквами и цифрами. Хирург, он знал немецкий, пошуршал бумагами и перевел: «ГЮНТЕР ВЕГЕЛЕР, 22 ГОДА», – а живет в Касселе, и вроде бы неженат, про жену в аусвайсах ничего не прописано.

Жетон взвесил на ладони. Усмехнулся. Сжал в кулаке.

Огни ходят по дегтярному небу, огни. В землянке, укрытый шинелями, лежит спасенный немчик, дышит, сопит, спит; зачем? Зачем мы, русские люди, оставили жить на белом свете эту сволочь, гниду говняную? Сразу бы к ногтю, сразу в расход.

Глаза не открывались долго, потому что были мертвы.

Мертвые глаза не видят. Мертвые мысли не вспыхивают и не текут.

Ничто мертвое не движется; мертвая материя косна, угрюма, она – сгусток то ли железной твердости, то ли разымчивой, истомленной последней мягкости, когда все напряженное и сжатое превращается в потустороннюю свободу, в небесную легкость.

Нет, смерть – это не облака в небесах, нет в ней никаких небес. Есть тяжесть и чернота, и плохой запах, и вечное невозвращенье.

Мертвые глаза внезапно дрогнули и поплыли вкось, вбок – под чугунными, ледяными веками.

Под закрытыми черными, обгорелыми веками глаза зрели.

Что? Боль?

Разве можно видеть боль?

Тому, кто умер и воскрес, – можно.

В щель между разлепленными веками полился слабый, молочный, кислый, жалкий свет.

Свет резал его скальпелем. Отрезал верхнюю часть черепа от челюстей и щек. Сейчас ты перестанешь думать. Думай скорей. Вспоминай. Где ты?

«Я на войне», – сказал себе Гюнтер. Потом подумал и добавил: «И я живой».

И, только он сказал это, заплакал, все внутренности в нем скрутились в тугую жгут и зарыдали, изошли стыдной влагой, солеными, как кровь, слезами.

«Ты на войне. Ты на войне. Тебя убили. Но ты живой. И ты лежишь. И ты замотан. Весь. С ног до головы. Это бинты. Тебя обмотали всего белыми бинтами. Снегами. Ты не выберешься из-под них. Мама! Мама! Я никогда больше не увижу тебя. Меня оживили для того, чтобы допросить, а потом убить».

Он слишком хорошо и сразу все понял.

Вокруг него молчали все. Молчало все. Спал рукомойник. Спали свертки марли. Спали шинели, пахнущие потом и солью и собачьей шерстью, на них медно, зелено блестели страшные пуговицы и зияли черные, пустые петли. Спали шприцы в кипятильнике. Спали скальпели и корнцанги в железном автоклаве. Спал хирург Осип Павлович Дыховичный на лавке, подложив обе руки под щеку, как младенец. Спала раскосая калмычка Ната, сидя, раскрыв полные, в виде полумесяца губы, прислонившись к земляной холодной стене. На носилках, положенных на два табурета, сладко спала Евстолия Ивановна, и круглые очки сползли у нее на кончик смуглого блестящего носа.

Тишина. Не стреляют. Нет атаки ни с той, ни с другой стороны.

А может, замирение?

Какое замирение в начале войны. Вождь обещал им молниеносную войну, а где она?

Где они все? Какие жестокие, огромные белые поля здесь, под Москвой.

Кажется, он слышал над собой женские голоса, когда его резали острым ножом. Без анестезии. И, кажется, от боли он то и дело терял сознание.

И это было хорошо. Иначе пришлось бы кричать, громко орать, а это стыдно.

Солдаты Великого Фюрера не плачут никогда. Германия превыше всего, и с ними Бог.

А с грязными русскими свиньями? Да разве у них есть Бог? Они даже не знают, что такое Бог. И не узнают никогда.

Пусть Бог останется навеки с ними, с немцами. С избранной, великой нацией, призванной вернуть миру истинную музыку; истинную мудрость; истинную власть; истинную веру; а превыше всего – истинную силу.

Какой он слабый сейчас. Из него вылилось так много крови.

Гюнтер хотел перевернуться на бок. Не смог. Резкая боль отъединила от тела руку и ногу, и они, рука и нога, плыли отдельно в воздухе, качались, как водяные лилии на скользких стеблях. А еще боль поселилась в подреберье, немного поворочалась там – и вырвалась наружу, и располосовала надвое его живот, и живот свело судорогой, и Гюнтер, не в силах сдержаться, раскрыл рот и дико закричал.

Это ему показалось. На деле он беспомощно шлепал губами, и птичий клекот вырывался из его пересохшей глотки.

– Пить, – сказал он на родном языке, ибо не знал языка врага, – пить, пожалуйста... пить!

Все молчали. Все молчало. Все спало: стаканы на тумбочках и бутылки со спиртом, каски, медицинские сумки с красными крестами на кожаных боках, гребень, что выпал из черных кос Наты и теперь валялся у нее под ногами. Спал забытый конверт с начатым, но недописанным адресом; спал автомат, и рядом с ним две винтовки. Жизнь спала тихо и крепко, уступая на миг место смерти, похожей на сон.

Голос Гюнтера услышала Евстолия Ивановна. Ткнула пальцем в переносицу, поправила очки. Спустила с носилок ноги на пол. Потом, вслед за ногами, поднялась вся. Грузность ее дебелих, мирно стареющих груди и живота к плечам и запястьям переходила в лошадиную костлявость. Хирург любил эту сестру, ласково звал ее: «Истолька».

Шарк-шарк – ноги в солдатских сапогах – по сырой и холодной земле – к Гюнтеру, навзничь лежащему. Над головой вместо адского многозвездного неба – сырые рваные простыни. Чтобы на рваные раны с небес снег не сыпал. Хирургу работать не мешал.

– Что, фриц недорезанный, – тихо, с плохо утаенной ненавистью буркнула Евстолия Ивановна, – что блажишь? Очнулся? То-то же. Знай врачей наших. Оживел небось! Зыркаешь! Буркалы выкатил! Что зубешки скалишь? Эх ты, да ведь ты пить хочешь! А тебе, дрянь ты такая, нельзя. Нельзя!

Евстолия руки скрестила, чтобы «нельзя» показать. Гюнтер увидел, и потом покрылся его лоб, и задрожал подбородок.

– Пожалуйста, – прошептал он еще раз, и еще раз: – Пожалуйста...

– Битте, битте! – передразнила его медсестра. Тряхнула головой, очки свалились с ее носа и улетели в угол землянки. – Битте, дритте, фрау-мадам, я урок вам танцев дам! Просишь, да! А ты не проси. Ах, зенки какие! Как у волчонка.

Евстолия Ивановна отшагнула назад, к тумбочке, в темноте нашарила железную кружку, поднесла к носу, понюхала.

– Вода вроде, не спирт. Ну да черт с тобой! Пей!

Колобком белым подкатилась к столу. Немецкий солдатенок под шинелями лежал, как белое березовое бревно. Губы его шевелились истомно, шуршали, сухие, пергаментные, тонкие, ломкие. Губы прежде глаз видели, искали кружку. Глотнул воды. Евстолия вытерла мягкой ладонью испарину у мальчишки со лба.

– Ах, ах... Жадно как лакаешь... А наших убивал – так же жадно?

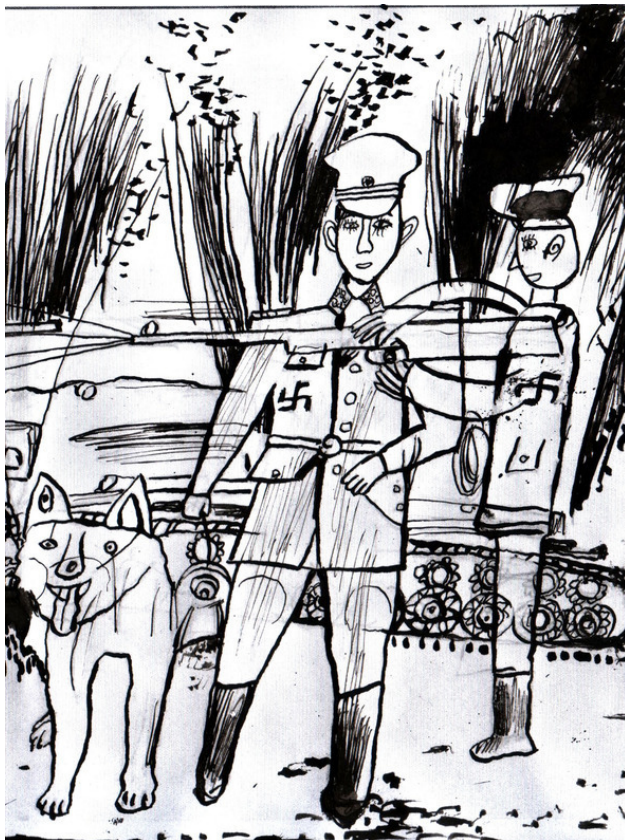
Зла уже не звучало в тихом грудном голосе. Шепот истаивал в тишине, во сне.

Сестра отошла, и Гюнтер стал с наслаждением вспоминать кружку и воду. Кружка стальная, а вода холодная и вкусная. Как жизнь. Как жизнь!

Опять закрыл глаза. Отчего-то увидел себя голым, во весь рост стоящим в снегах под ночным, усеянным крупными цветными звездами русским небом. Голый рыцарь, голый крестоносец. Воин Рейха. А где доспехи? Зачем тебе доспехи, когда повержен ты? И лишь снега примут твоё тело и твоё сердце? Будешь ли пировать в Валгалле, ты, жалкий пленник? Тебе недолго жить. Русские не щадят пленных – их это давно говорили, их так учили. Ему капут.

Под сомкнутыми веками ходили цветные пятна, круги и стрелы. Он начал вспоминать, что с ним было в той жизни, милой, прелестной, как вальс Штрауса или ария из оперы Вагнера, довоенной, прозрачной, как цветок ландыша, как гиацинтовое мыло на стеклянной туалетной полке в доме его матери, в доме родном.

И первое, что он вспомнил, были губы и глаза Лилианы Николетти.



*[елена померанская – ажыкмаа хертек]*

Дорогая тетя Ажыкмаа, здравствуйте!

Пишу вам из Москвы. Я поступила в Московскую консерваторию этим летом. Очень счастлива, был большой конкурс, десять человек на место. На экзамене по специальности я играла Хроматическую фантазию и фугу Баха, Второй концерт Рахманинова, первую часть, Лунную сонату Бетховена и Пятый этюд Шопена, соль-бемоль мажор. Слушали не все, Рахманинова послушали только экспозицию, а Бетховена попросили сыграть кусок финала. Там очень трудный быстрый финал. Председатель комиссии, профессор Евгений Малинин, посту- чал карандашом по столу и громко сказал: «Достаточно! Спасибо!» И голос у него был какой- то злой, я уж подумала, что они мне выставили двойки.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.